Российский государственный гуманитарный университет Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского

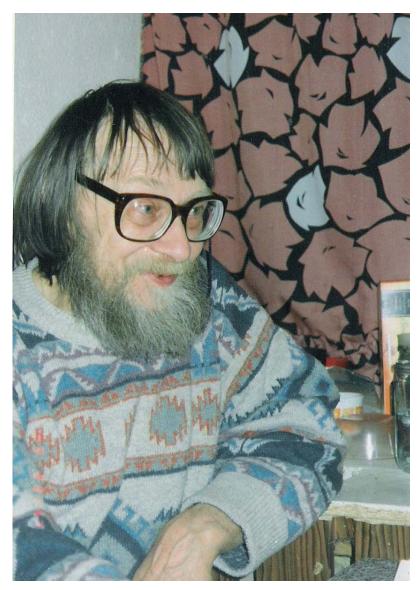
Елена Петровна... Лена... Леночка...

Есть дела, которые длятся годами, вовлекают в свою орбиту большое количество участников и становятся объектом пристального общественного внимание. Таким делом, ставшим многолетним научным событием, является Институт высших гуманитарных исследований Российского государственного гуманитарного университета.

Есть люди, без которых подобные события немыслимы, без которых они просто не могли бы осуществиться. Таких людей принято называть «душой», «движущей силой», «опорой» дела (институции, проекта), и это совершенно справедливо. Для Института высших гуманитарных исследований таким человеком является Елена Петровна Шумилова. Придя в РГГУ в 1992 году, Елена Петровна отдала новообразованному институту всю свою энергию, доброжелательность и организационный талант.

Сегодня у друзей и коллег есть повод поздравить Елену Петровну, выразить ей все свое уважение, свою признательность и безграничную любовь.

Сентябрь 2010 Москва



Лене

Увидеть Lilium из трибы Lilieae
Как лилию в нетканом, из нерукотворных
Досоломоновых сокровищниц, наряде
И обрестись (Сколь дерзостно, столь мнимо.)
В единстве сущего
Промеж толиких и толик:
Иллюзий и веществ, событий и галактик – в том,
Что есть не-эта-лилия.

2009

«Красавица!» – подумал я о вошедшей в комнату незнакомой светлоокой девушке. Ее непослушные волосы были не коротко стрижены, а движения не озабочены специальной плавностью и женственностью. Нас представили: Лена.

Комната принадлежала Зинику Глузбергу (еще не З. Зинику). Здесь только что закончился урок иврита, и полузнакомый хозяин предложил мне задержаться. Я задержался.

Вслед за девушкой появилась пара: Алик Меламид и Катя. Алика я тоже увидел впервые, а Катю видел и раньше: она ходила на занятия к В. Вейсбергу в нашем архитектурном институте.

Замечательно оживленное лицо девушки Лены вело какую-то свою партию в паре с быстрой речью. Глаза сияли доброжелательно, но без специального интереса. Эти четверо были старые друзья, и говорили о других своих друзьях, я мало что понимал, но почему-то не уходил. Молча сидел у шкафа, все плотнее приваливаясь к нему плечом.

Λена, как выяснилось позже, это наше первое знакомство совершенно не запомнила.

Год? 1969, едва ли 70-й.

В пятилетку до отъезда Зиника поместилось больше событий, чем в последующие лет пятнадцать. Время шло быстро, но как-то очень подробно и плотно – без пауз. Через год-полтора мы все уже были близкие друзья или хорошие знакомые.

Еще и потому, что раз в неделю обязательно встречались у Зиника, на его «четвергах». О, «четверги»! На них припекало сразу со всех сторон. Только открыв дверь, еще в передней, ты попадал, как в рай, в ровный рабочий гул головокружительного разговора. Ах, если бы мои двойники сейчас заполнили комнату, приставив ухо поближе к каждому из собеседников. Я одновременно слушал не меньше трех говорящих, опасаясь только, что и меня зачем-то втянут в разговор. Где-то в поле зрения всегда присутствовала Лена, так же обрастающая на глазах невидимыми приспособлениями множественного слуха.

Параллельным (но отчасти и пересекающимся) предприятием был соц-арт Комара и Меламида, за прекрасным рождением и бурным ростом которого мы увлеченно наблюдали со стороны, а Лена даже принимала некоторое участие. Например, фотографировалась как модель для одного из проектов, когда соц-артисты на месяц-другой

занялись пародийными фантазиями на тему авангардной моды.

Но в начале следующей пятилетки вслед за Зиником отъехали Алик с Катей, потом и Комар получил долгожданное разрешение, и вот уже на его проводах прогрессивная художественная общественность с изумлением наблюдает бесконечный, похожий на затяжной прыжок, танец Лены с Оскаром Рабиным.

Зиник уехал в январе 1975, а в апреле мы договорились обмениваться дайджестами его писем и открыток, но договор мало кто выполнял. Мы просто показывали друг другу полученные «почтовые отправления», с этого обычно и начиналась встреча.

На какое-то – и довольно долгое – время основой жизни стала переписка, и новая иерархия строилась на том, кто прочитал больше писем. Нина, жена Зиника, была во главе, мы с Леной определенно делили второе место.

Потом уехала и Нина.

Еще живя в Израиле, Зиник собирался написать пьесу «Два четверга», но ничего из этой затеи не вышло. И понятно, почему: эту пьесу мы писали все вместе, не догадываясь об этом (или все-таки догадываясь?) Действие шло на разделенной пополам сцене: половина в Москве, вторая – в Иерусалиме, Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго. На нашей половине Саша Морозов снимал очки

и возмущенно отодвигал от себя стопку недавних открыток: «Ничего не понял!» – «Это не страшно, – успокаивал его Саша Асаркан, – это так надо: входит в стилистику».

На изложение событий в эпистолярных текстах Зиника сильно влияла писательская техника его литературного наставника Павла Улитина, которую тот называл «стилистика скрытого сюжета». Сюжет продолжался и после отъезда Зиника. С февраля 1975 мы начали довольно регулярно встречаться втроем: Павел Павлович и мы с леной – его молодые друзья и «первые читатели». ПП звонил лене, та мне. Звонки были дневные и всегда внезапные, мы срывались со своих рабочих мест (все ж не в Америке живем!) и неслись в кафе «Артистическое» или «Остоженка». Иногда встреча заканчивалась у лены Новик или у Саши Морозова.

Мы с Леной как бы сидели за одной партой и смотрели в одну сторону, только изредка обмениваясь взглядом или шпаргалкой. Возможно, поэтому Лена того времени вспоминается больше в профиль. (Профиль у Лены тоже замечательный.)

Через год появился Алеша Чанцев, и Лена отчасти перешла в другую школу.

Это тоже была хорошая школа. В тот период мы чаще всего собирались в квартире Лены на

так называемые «суаре». Здесь обнаружился ее новый талант – кулинарный, и невероятного вкуса беляши исчезали мгновенно, сколько бы их ни произвели.

Все опять говорили более ли менее одновременно, и приходилось выбирать. Выбрать между Асарканом, Айхенвальдом, Гаевским, Чанцевым и Морозовым было непросто. (Случались и более редкие гости: Михаил Еремин или Андрей Кистяковский.) А тут еще беляши удивительной нежности.

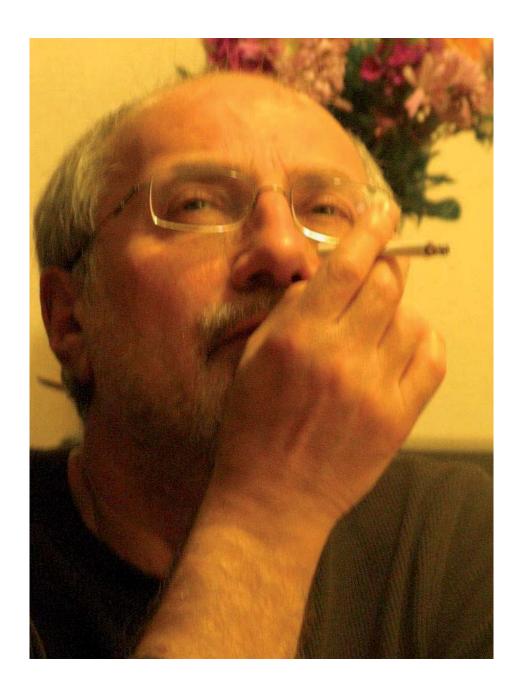
Только у Лены получалось слушать все разговоры, в нужных случаях подключаясь для снятия напряжений; находиться во всех концах комнаты – и в то же время на кухне, за изготовлением тех самых невероятных беляшей. В любую минуту и в любом случае являться связующим звеном.

Это очень трудное служение; здесь главные нагрузки – на растяжение и на разрыв. Именно такие способности быстро изнашиваются, и люди предпочитают затвориться в своем углу. За этим стоит простая вещь: запас любви сокращается, ее уже не хватает на всех – то есть на многих.

Но это не про нее, не про нашу Лену. Ее привязанность всегда заботлива и обстоятельна, а гдето в глубине – светлый ключ, ток любви, пробивающей любую усталость. Вероятно, поэтому о ней трудно писать отдельно, обособленно: она всегда вместе и в связи. Точнее, она и есть эта связь.

Никто никого не забывает, но как-то тихо и про себя. Только Лена делает это открыто и деятельно, постепенно превращая такое не-забывание в особую технику что ли, в умение жить определенным образом. Или просто: в умение жить.

Ее дар очевиден, но его трудно выразить в словах. Талант отношений? Талант жизни? Да, что-то в этом роде. Какая-то лучистая сущность, в присутствии которой жизненные связи тоже становятся лучами света.





ЭФФЕКТ ЕЛЕНЫ ШУМИЛОВОЙ¹

Лена не писатель. Лена – читатель.

Писателей на свете больше, чем читателей. Хороших читателей всегда не хватало.

В семействе Толстых, например, каждый вел свой дневник. В этом занятии все подражали главе семейства. Лев Толстой все записывал («Думал что-то очень важное и забыл» – одна из записей девятисотых годов) и создал у всех вокруг в своем поместье ощущение, что каждая минута жизни любого человека – уникальна, и поэтому ее следует зафиксировать в слове. Но в действительности все они фиксировали не свою собственную жизнь, а жизнь Толстого и себя вокруг него: каждый видел одно и то же событие чужой жизни, но своими глазами, как евангелисты. (Новый Завет – это четыре точки зрения на одного человека.) А глаза у всех разные.

Но не всякий взгляд на великого человека любопытен. Вел дневник, например, и композитор Танеев – его Толстой ревновал к Софье Андреевне (см. «Крейцерову сонату»), хотя Танеев, ученик и любовник Чайковского, женщинами не интересовался. Его дневники занимают тысячи страниц. Записывал он свою жизнь подробно на языке эсперанто. Записи сводятся к тому, когда он встал, чем завтракал, потом что было на обед, на ужин, когда лег спать. Тысячи и тысячи страниц систематического бреда ежедневной банальщины. И все на эсперанто – на языке будущего – для всех народов на земле.

Точно такую же бешеную бациллу творчества (твоя жизнь и есть самый интересный роман) внедряли в наши сердца в Москве шестидесятыхсемидесятых годов своим дневниковым стилем наши старшие (для нас с Леной Шумиловой) товарищи, наши внешкольные учителя и невольные наставники. Павел Улитин (официально: преподаватель иностранных языков) делал это пародийными стенограммами разговоров, а Александр Асаркан (человек театра) своими почтовыми открытками. Они прошли советскую тюрьму и психушку, на многие годы осели в грязноватом кафе «Артистическое»; но их словесный монтаж и коллаж предвосхитили электронный век блогеров и твиттеров. Это была реакция (и в каком-то смысле пародия) на сталинскую эпоху коллективного творчества, когда все писали эпические рома-

¹ © Zinovy Zinik, 2010.

ны – доносы на своих соседей, друзей, родственников.

Это был и вызов официозу. Их открытки (или письма в конвертах) если и не содержали политическую крамолу, были сами по себе открытым подрывом стилистического монолита печатной советской продукции. И получали при этом официальный штамп – печать Главпочтамта, то есть цензуры, на почтовой марке в уголке. Это было вещественное доказательство того, что есть другая жизнь со своей литературой вне очереди в союз советских писателей.

Но литература, как и искусство вообще, вовсе не обязательно облагораживает, как верили некоторые нобелевские лауреаты. Человек может плакать над Диккенсом, а потом зажаривать на костре своего врага к завтраку. Нерон неплохо играл на арфе, что не мешало ему параллельно наслаждаться видом пылающего Рима. Сталин был поэтом (Пастернак отобрал стихи молодого Джугашвилли в свою дореволюционную антологию грузинской поэзии). И Андропов тоже писал стихи. А Молотов много читал. У него в библиотеке были тысячи книг. Одна английская славистка недавно получила доступ к этой библиотеке и нашла на полях книг, прочитанных Молотовым, следы его карандаша или отметку резкую ногтей (ногти, видимо, не были подстрижены?). Везде он невольно выражал себя - то кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком. Изучив

эти отметки печального и опасного чудака, английская ученая пришла к неизбежному выводу: хотя Молотов и читал гениев, но сам был человек крайне недалекого ума. Слабо работало его воображение и, видимо, тогда, когда он перечитывал смертные приговоры перед тем, как заверить их своей подписью.

Татьяна читала книги из библиотеки Онегина не так, как Молотов читал Чехова или Черчилля, или как Эйхман перечитывал Библию (он изучал иврит – правда!). Короче: читатель читателю рознь.

Так вот: Лена - гениальный читатель. Более того, она - крайне разборчивый читатель. Она выбирает, отбирает для себя своих авторов, как бы вторя словам Мандельштама о том, что человек – это книги, им прочитанные. Его связь с книгой - это формообразующее чтение, превращение прочитанных слов в образы собственной жизни, увиденной в неожиданном свете: сквозь очки, так сказать, автора читаемой книги. Твоя жизнь, таким образом, становится продолжением сюжета прочитанной книги, цитатой из открытки друга, из дневниковой прозы любовника. (Так религиозные евреи читают свою Библию с комментариями.) Такой читатель книг - это создатель еще одного невидимого мира образов, спровоцированных чтением. То есть хороший читатель - это своего рода писатель. Он создает в уме некую свою параллельную литературу.

Проявляется это литература по-разному. Мы сблизились с Леной Шумиловой на Пушкинской площади, рядом с киоском у здания «Известий», где мы каждую пятницу в шестидесятые годы встречались с Асарканом: он тогда сочинял разные эксцентричные эссе для либерального по тем временам еженедельника «Неделя» (выпуск - по пятницам). Мы провели много лет, пытаясь разгадать тайный смысл случайного и непредсказуемого обмена репликами между Асарканом и Улитиным, и угадать нашу роль в этом судьбоносном, как казалось нам, диалоге - не без эротического, как всякое соучастие, чувства выдуманной вины за неведомые прегрешения, в духе католиков. Мы вторили друг другу, переиначивая чужие слова как свои собственные.

Мы вчитывались в чужую судьбу (а чужая судьба всегда как законченная книга, увлекательный роман) за отсутствием своей собственной.

Мы подражали Асаркану и Улитину, повторяя их слова и жесты. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Проблема в том, что эхо искажает слова. Но искажает недостаточно (меня натолкнуло на этот ход мысли, связанный с эхо, наличие шума в фамилии Шумиловой). Эхо не преобразует наши возгласы и вопросы так, как это помогло бы нашему самосознанию. Потому что миф о нимфе Эхо неотделим от мифа о Нарциссе. Нарцисс, не способный оторваться визуально от своего зеркального отражения в во-

де, находит собственное звуковое отражение в повторах Эхо. Тут Эхо – попугай. Эхо не освобождает его от тюрьмы нарциссизма – наоборот: возвращает Нарцисса обратно к самому себе без шанса на открытие другого мира, вне себя.

Однако у древних греков у каждого мифа был мифологический двойник. И у попугаистого Эха с самовлюбленным Нарциссом есть в двойниках самозабвенная Психея в паре с Амуром (Эротом). Согласно Апулею, Психея думала, что вышла замуж за чудовище, но в действительности стала женой какого-то таинственного незримого существа. Этим существом оказался божественный и прекрасный Амур – Купидон, Эрот. В отличие от Нарцисса, влюбленного в себя, Эрот заставляет других влюбляться друг в друга. Психея же – в древнегреческой мифологии (олицетворение души, дыхания) представлялась в образе бабочки или молодой девушки с крыльями бабочки.

Мы знаем, что такое эффект бабочки – это внутренняя мистическая связь всего со всем в мире: когда испуганная бабочка на газоне в Вашингтоне взмахивает крыльями, в Тегеране происходит землетрясение.

Кроме того, бабочки переносят пыльцу с одного цветка на другой.

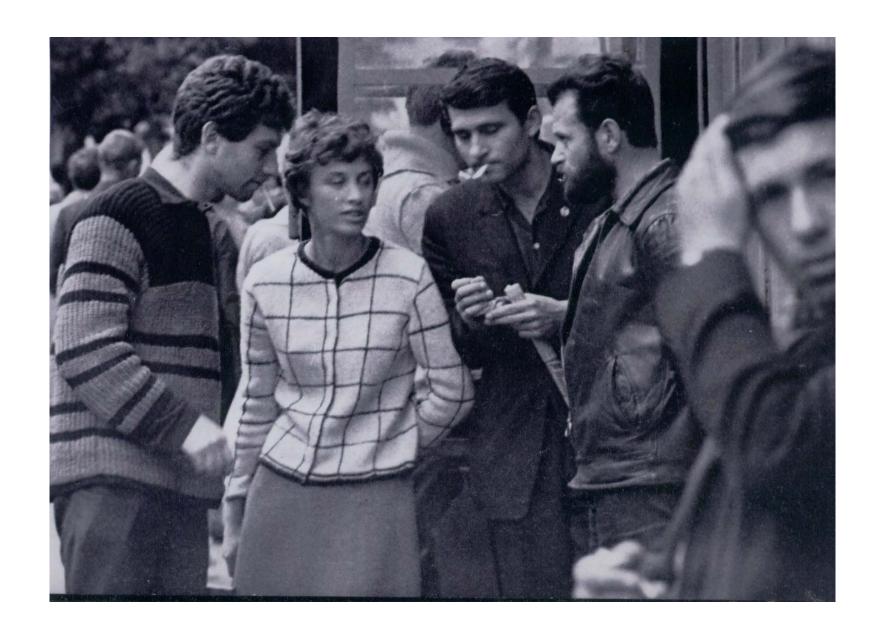
Лена Шумилова – наша вечная бабочка-Психея. Психея слышит не то, что ей следует повторять, как Эхо; она угадывает то, что другому нужно услышать в себе – она подсказывает человеку его собственные мысли. То есть у себя в уме она угадывает – и подсказывает – истинные авторские интенции. Как гениальный читатель, она умеет влезть в душу автора, стать его душой. Недаром она – гениальный редактор совершенно уникальных, ею же задуманных, изданий тех, в ком она угадывала авторскую уникальность.

В отличие от круга толстовцев, Лена, насколько мне известно, не вела дневника. Но она всю жизнь писала и пишет письма (специальность Психеи). И в этих письмах она способна была в страшные семидесятые преодолеть не только государственные границы, но и личную предвзятость и предубеждения.

Потому что как всякий внимательный читатель, она еще и потрясающий слушатель. Она умеет застенографировать услышанное. Ее письма из Москвы создавали взмахом крыльев Психеибабочки такой эффект присутствия – лично для меня за границей,— что географии (разделения мира на цивилизации, поделенные железными занавесами) больше не существовало. Этот эпистолярный перенос пыльцы давал ростки там, где, считалось, уже давно вырасти ничего не может.

Это преодоление расстояния и есть жизнь. И начало нового романа. Уверен, Шумилова будет его редактировать.

















Валерий Семеновский

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО

С Леной Шумиловой мы дружны без малого сорок лет. Изначально нас связывает что-то вроде заговора посвящённых; тех, кто смолоду, переимчивым вольнослушателем, оказался в школе Асаркана и, как выяснилось впоследствии, был завербован им навсегда. Главным предметом в этой неафишируемой и чуждой проповедничеству школе был сам Асаркан; «человек живого общения, блестящий собеседник, < ... > он был безупречным воплощением интеллигентности <...> без малейшей тени иллюзий и заблуждений, присущих тогдашнему сознанию интеллигенции. <...> Каждая встреча с ним была научением свободе». Так писал историк и публицист Алексей Чанцев, покойный муж Шумиловой («Театр», № 1, 2000, c. 115).

Асаркану посвящены мемуарные очерки изощрённых и ответственных авторов: Михаила Айзенберга, Зиновия Зиника, Вадима Паперного, Льва Смирнова... Но недаром фильм, работу над которым заканчивает Паперный, называется «В поисках Асаркана». Ускользающий от попыток уловить его и присвоить, он и теперь остается объектом, провоцирующим разноголосицу и перекличку: продолжение общего разговора. Время таких разговоров, которые когда-то велись на московских кухнях (в нашем случае - на «четвергах» у Зиника, а после его отъезда в эмиграцию – у Айзенберга), давно прошло. Но человеку индивидуальному всякое время поперёк. Зная об этом не понаслышке, Лена Шумилова, инициатор и редактор рубрики «Асаркан» в «Стенгазете.net», предприняла немалые усилия, чтобы разговор продолжить. Расширить состав его участников и адресатов. Воспроизвести и прокомментировать хотя бы часть замечательных статей Асаркана и неподражаемую графику его открыток, рассеянных по всему свету. И в результате - инерции наперекор - утвердиться в действительности восстановленного контекста.

Быть связующим звеном, сближать отдалённости – назначение Лены. В дружеской среде монологистов, с возрастом утративших вкус к отзывчивости, она игнорирует опыт взаимных охлаждений и расхождений. Сохраняет энергию

соучастия. Это её дар; природный, но и благоприобретённый, развившийся в общении со многими проницательными людьми (от Асаркана до Гаспарова), способными распознать в этой энергии соучастия сопротивление навязанной участи. И способными ответить не поверхностным расположением, а глубокой доверительностью.

Лена Шумилова – доверенное лицо.



Мы с Леной познакомились задолго до 1980, пересекаясь в пространстве Айзенберговских вторников, но, кажется, впервые поговорили, непосредственно обращаясь друг к другу, в день отъезда Асаркана, после проводов, которые тогда были еще почти отлетом в мир иной, с сомнительной возможностью следующей встречи. Мы оказались (для других вероятно по предварительному решению, для меня спонтанно) у Лены в квартире. Утро было холодное, туманное и медлительное, я должна была ехать на работу, но не поехала, внутренний барьер пиетета по отношению к Лене, мешающий мне, сломался на коллективных действиях - что-то мы резали, раскладывали на тарелки, о чем-то говорили. День продолжался так же сонно и томительно, вроде бы уже вечер, а на часах всего два, чего-то ждали, кажется, звонка из Вены, люди приходили и уходили, приносили еду и водку, когда кончалась водка пили чай. Как обычно после тех отъездов все были скорее вялые и пустые, чем склонные к общению, только Лена при этом была хорошей хозяйкой, всех утешала, старалась развеселить, успокоить. В день отъезда Асаркана для меня, по внутреннему ощущению, Лена стала другом.

Через несколько (много, больше десяти) лет Лена приехала в Лондон. Мы встретились и отправились на машине блуждать по городу – Сити, Гринвич, Блэкхис, останавливаясь в пабах, вылезая побродить, добрались до нашего дома, где на Лену напали моя мама, изголодавшаяся по общению со свежим человеком, и аллергия на кота по имени - Кошка Бувайло. Лена мужественно справлялась со всеми напастями, чихая и кашляя рассказывала и отвечала на расспросы, потом мы снова погрузились в машину и поехали на другой конец Лондона к Оле Хэлли, которая ждала Лену «вечерком». Снова блуждая, на этот раз непреднамеренно, но за разговорами совершенно без напряжения (для меня), где-то сильно после полуночи мы добрались до Оли, которая к этому времени была совершенно в панике. Мы еще посидели все вместе, пока Лена (вдруг!) не заснула на полслове. Тут-то до меня дошло – а ведь для нее уже не час ночи, а четыре, да еще после антигистаминов, которыми я ее накормила, и при этом Лена не жаловалась, а поддерживала необязательную болтовню.

А потом я пару раз видела Лену в по-настоящему тяжелые моменты ее жизни. Даже тогда Лена держалась настолько выдержанно и достойно, что по ее поведению трудно было заметить, как ей плохо. А еще у меня были поводы убедиться, что и помощь ее так же ненавязчива и почти незаметна со стороны (даже со стороны прямого объекта помощи), словно – вот, все само по себе так славно сложилось.

Трудно определить, за что именно любишь человека, конечно, не за отдельные аспекты личности, скорей всего коллективно мы вспомним их все, самое главное, мы любим то уникальное сочетание молекул, которое образовало Лену Шумилову за потрясающий блеск в глазах, когда она улыбается.

С Днем Рождения, Леночка!



ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТКРЫТИЯ

«...хвалу человеку во всей ее полноте нельзя произносить в его присутствии» Раши (комментатор Торы и Талмуда, XI в.)

«Во всей полноте» и так и сяк не получится... в тонкий зазор между «адресатом» и остальными – миром... что не скажешь в телефон и длинновато для тоста.

Открытие – увидеть то, на что смотрят все не замечая. Эйнштейн говорил: «в эксперименте можно открыть только то, что предсказано в теории»... есть, однако, открытия непредсказуемые.

Мне не удалось передать удивленья-изум Ленья ни Кате, ни Алику, ни Б.А. Успенскому, ни Алеше Береловичу, ни его жене – оттого может быть и напился донельзя.

Римские каникулы – две недели в Риме с Леной у Кати и Алика. Веселье и свободу дарили хозяева, остальное был Рим.

Не сезон, март, Рим дышит легко, греет ласково, и у благожелательности нет границ, она их не замечает... заплутав, Лена спрашивает что-то порусски! и ей отвечают!? и она что-то выкраивает из неведомого итальянского.

Пространство-время Рима овеществлено – камень (пере)натроганный давно истлевшими пальцами. Живые имена мертвых, ты их осторожный, робкий гость, соглядатай, свидетель их присутствия, их вкуса, их права на разрушающее созидание.

Хорошо, что не слеп – как быть в Риме слепому? На одной из первых чикагских открыток Саши Асаркана впервые увидел рядом с громадной скульптурой ее маленькую копию, для ощупи – слепок для зрячих пальцев.

Ритм хода подчиняется линии холма, всплеску колонны (кардиограмма), зигзагу улицы, внезапным вздохам и выдохам площадей. Как сообщить об этом пульсирующем пространстве, есть ли такая музыка?

Не могу найти фото: Лена пытается потрогать, «живую» статую. «Да, я знаю, но... это правда – да?» ...взгляд, благодарный, как ребенок в цирке, ищет встречи и сочувствия.

Растерянная – счастливое удивление – улыбка римЛенки... в пол-оборота, приглашая увидеть... рука, пальцы то указующие, то прижаты к щеке, жест помогает пережить зРимое.

Все родное в разворованном на цитаты городе и + сияющая Шумилова.

Чудо каникул – ты не «житель» (все мы немного римляне) – беспечное перекати-город, бескорыстный рассеянный летящий взгляд.

Стены и бестротуарная мостовая – Аппиева дорога – окаменевшая шкура гигантского черного крокодила.

Не торопясь, о Кампанья! догулялись до ночи. «Темно! домой к Меламидам!»

Бесконечный, впритирку к стене, бег на месте в слепящей тьме встречных авто... не шипение асфальта, не частушечная дробь брусчатки – чудовищный грохот тысячелетних черных бугров мостовой и допплеров вой трясущихся мычащих моторов... 5 – 40 минут?? По ту сторону времени – некороткометражный Хичкок с хеппи-эндом у севастияновых ворот...

 Λ ен, это были мы там... хватит до начала потемок...

Об открытии.

Загнали себя в музей, уйти от Ромы? Пробрались через бесконечные ватиканы к Сикстинской Капелле. Зрители сходят на нижнюю палубу громадного корабля, и кто стоя, кто сидя, застывают, запрокинув головы. Время измеряется нарастающей волной шепота, которую гасит с верхней палубы шшши-пением. Капитан корабля, переодетый в одну из разномастных полицейских униформ...

Вышли, добрались до сувенирного киоска. Лена решила кому-то в подарок купить постер потолка – свиток в тубе... вытащили посмотреть, чертыхнулась, «что-то не так... нет-нет... что-то не то...» Что может быть «не то» в продающихся тысячами самых известных в мире изображений?

Вернулись в капеллу – в самом деле «не то»: на постере расположение Сивилл и Пророков перевернуто на 180° относительно потолка!

Если ошибка так и не обнаружена, то постер, подаренный Леной, станет библиографической редкостью – опечатка века!

Кто-то из моих слушателей сказал: «понятно, Редактор».

Леночка, робею от одной мысли быть частью твоей картинки, в которой все как «на самом деле»... слабая надежда, за 45 лет удалось хоть чуть запудрить тебе мозги.

Знаю, найдешь и здесь кучу неточностей, неутомимая веселая чудная спутница попутчица помощница – великая женщина с даром и несчастьем прямого зрения.









ПРОГУЛКА С ЛЕНОЙ ПО ИЕРУСАЛИМУ

- Вот здесь я живу. Это место, называется Нахлаот, между прочим, один из первых, а для точности, третий квартал в Иерусалиме, куда переселились евреи во второй половине XIX века из Старого города. Видишь там обшарпанная стена одноэтажного домика с маленьким зарешеченным окошком, вон, рядом с красивым чистеньким домиком, вон, прилегает к нему... Это типичный домишко того времени. Весь квартал, там, где жила беднота, был такой, один сарай впритык к другому.

Мне стало стыдно за свои слова, я совсем не собирался проводить экскурсию по городу. Мы просто гуляли, ибо иерусалимская весна конца апреля – самое лучшее время для этого. Первый послепасхальный хамсин сломался всего три дня назад, и теперь, как это всегда бывает после невыносимой жары с пыльным маревом в воздухе,

дышится легко и спокойный ветерок при температуре 25 градусов радует и успокаивает.

Но, почувствовав неточность в своих словах о моем любимом Нахлаоте, я остановиться не мог.

– На самом деле, настояший Нахлаот в двух шагах отсюда. Пойдем, покажу, кстати, первая моя квартира в этом квартале была именно там, на улице «Шатра Моисея».

Мы идем туда, и я думаю про себя, рассказывать или нет... Впрочем, отчего бы и нет – все равно дела давно минувших дней.

- Вот садик, его называли «пьяным садиком» - здесь собиралась компания мужиков, разумеется, все говорили по-русски, распивали дешевую водку, а тогда ее и впрямь можно было приобрести за копейки. Тихо, без скандала, мужики напивались и засыпали вот на этих лавочках. А я жил напротив, было это уже не менее полувека назад. Вот в этом доме, видишь, над входом арочное окно с мозаикой – это я еще делал, сохранилось... Так вот эта улица и есть типичная для Нахлаот: дома с черепичной красной крышей, со сводчатыми потолками внутри, со стенами толщиной в метр, большими, типа готических, окнами и небольшим двориком...

Здесь, Леночка, произошла со мной удивительная и загадочная история. Честное слово, не с перепоя и вполне на трезвую голову. Подрабатывал я тогда охранником или сторожем, как хочешь,

так и называй, в разных местах города. И както раз возвращался после дежурства в пять утра, обычно, в это время улицы пусты, а эта особенно, только пьяные бомжи похрапывают на скамейках. Подхожу к дому и вижу навстречу идет наш Лазик. «Вот сволочь, - подумал я, - приехал из Лондона и не сообщил». Я, конечно же, подбегаю к нему: «Ты тут? Когда приехал?.. Пошли ко мне, я здесь живу», - очень неожиданная встреча была и радостная для меня. Но, смотрю, Лазик как-то смущен и вроде сторонится меня, молчит и бочком-бочком в сторону. Потом рукой отстранил меня и быстро пошел прочь. Представляешь, каково мне было. Я застыл на месте и гляжу ему вслед, а он вон в тот переулок свернул... Я подумал было побежать за ним, да только обидно стало и бежать не стал, а тихо подошел к повороту туда и вижу вдали стоит Лазик, а рядом с ним женщина очень похожая на тебя...

Не смотри на меня так, это чистая правда – все это было со мной, и я был ни капли не пьян и, как говорится, находился в трезвом уме и твердой памяти. Это же был 1985 год, тогда никто из Союза не приезжал, а уж, если бы приехала ты, то я знал бы об этом наверняка. Но главное, что меня такая злость обуяла на Лазика! Ух!

По пятницам было у нас место встречи тут, в ресторанчике на рынке, оно и сейчас функицонирует. У нас – это у Лени, меня и еще некоторых

ребят, большая часть которых бывшие мехматовцы. Как обычно, прихожу я туда в следующую после этой странной встречи с Лазиком и с тобой пятницу. Ребята уже собрались, а Лени нет. «Где он?» – спрашиваю. «А он в Лондон поехал к Лазику, – отвечают мне. – Уже вторую неделю там, на следующей неделе прилетает».

Честно скажу тебе, Леночка. В ту пятницу я не пил, посидел с ребятами полчаса и ушел. Испугался я, что такие видения ко мне приходят... Разумеется, Лазику я ничего не рассказывал, вот первый раз тебе рассказываю. Но, знаешь, злость на Лазика и обида после этого случая осталась и до сегодняшнего дня. За что? – За то, что приехал и не позвонил, а главное, что не сказал, что ты тоже в Иерусалиме.



Лев Рубинштейн

Интересно и странно вот что. Лену Шумилову я знаю очень давно, а о ней знаю совсем мало. В чем тут дело – в моей ли нелюбопытности, в ее ли скромности. Но это так.

Я вот, например, ничего не знаю о ее, что называется, базовой профессии. Встречая ее на поэтических чтениях, художественных выставках, концертах, всяких-разных гуманитарных мероприятиях или просто в гостях у многочисленных общих друзей, мне никогда не проходило в голову поинтересоваться, а чем же, собственно, занимается она. А дело, я думаю, в том, что в ее случае это как-то совершенно неважно. Лена всегда служила и служит украшением и в каком-то смысле оправданием любого окружающего ее ландшафта своей искрящейся доброжелательностью, свой ненавязчивой общительностью, своей красотой, наконец.

А сколько-то лет тому назад, когда она стала «рулить» Институтом высших гуманитарных

исследований РГГУ, стало казаться (думаю, что не только казаться), что вся гуманитарная жизнь крутится вокруг нее, что все гуманитарные науки водят почтительный хоровод вокруг этой улыбчивой синеглазой женщины. Имя «Лена» или, пуще того «Елена Петровна», произнесенные с характерным придыханием, постоянно доносятся до моих ушей в том или ином академическом собрании. Кажется, от нее все зависит.

Λеночка, будь здорова и бодра. Всегда. От тебя, повторяю, зависит всё.



В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ...

В начале прошлого десятилетия, столь ярко завершившего уходящий век, в один из апрельских дней 1992 года, мы с Еленой Петровной сидели в фойе возле ректорского кабинета (сейчас это «аудитория 220») и составляли перечень «самого необходимого» - того, что в первую очередь требовалось для нового, но еще не существовавшего, только задуманного подразделения Российского государственного гуманитарного университета; в ближайшем будущем ему предстояло стать Институтом высших гуманитарных исследований - едва ли не первым в стране гуманитарным университетским научным центром. Практически сразу же определившийся первый состав этого Института теперь вспоминается с восхищением и грустью: он был столь же ярок и уникален, сколь горькими и обильными стали утраты последних лет.

А вначале не было ничего; многие мелочи приходилось приносить из дома. Проблемой оборачивалось все – от скрепок до столов, но решались эти проблемы как-то весело, без напряжений. Помню наши первые пишущие машинки (они и поныне пылятся на шкафах, годные разве что для музея истории ИВГИ, которому вряд ли когда-нибудь суждено состояться).

Помню нашу первую зарубежную стажировку. Михаил Реутин, отправившийся в Берлинский технический университет, отстукал свой презентационный доклад на нашей латинской машинке, у которой буквы съезжали на надстрочный и подстрочный уровни, отчего строка получалась зигзагообразной, к тому же с плохо пропечатанными красноватыми краями (лента была двуцветной). Когда Миша вручил этот текст профессору Роланду Познеру, тот изменился в лице.

– Я знал, – сказал он, – я предполагал, что у вас неважно обстоят дела с оргтехникой, но не представлял себе, что до такой степени... Давайте, мы подарим вам компьютер.

Так у ИВГИ появился первый компьютер.

Помню наши первые кабинеты, раскиданные по разным корпусам еще не вполне заполненного РГГУ. Пути к некоторым комнатам были причудливы; так, согласно одному из них, надо было долго и с неоднократными поворотами идти по коридору четвертого этажа и в результате оказаться... на третьем этаже, где и располагался

ИВГИ. Этот «мёбиусообразный» маршрут в течение нескольких месяцев не мог освоить Елеазар Моисеевич – Елена Петровна обычно встречала его у входа и затем бережно вела по лабиринту недоосвоенного пространства, своей уверенностью в правильности пути укрепляя ощущение достижимости поставленных целей.

В шкафах и ящиках столов мы находили брошенные в спешке документы прежних хозяев здания – Высшей партийной школы, сметенной валом антикоммунистической революции. Было, например, такое упоительное чтение, как отчеты диссертационного совета этой «школы»; в кабинете председателя Совета мы одно время располагались. Что за темы кандидатских и докторских диссертаций значились там! Вот уж поистине, свежо предание, а верится с трудом...

Помню наши первые трудности и первые неудачи (они, естественно, тоже случались). Зато какие аудитории собирали в эти годы семинары ИВГИ – чуть ли не каждая лекция становилась широким публичным мероприятием. Конечно, многое было связано с общественным настроением того времени, еще не пораженного интеллектуальной апатией, еще проникнутого духом неутоленного интереса к ранее закрытым областям гуманитарного знания. Однако не в меньшей мере людей привлекало соцветие замечательных ученых, собравшихся в стенах Института высших гуманитарных исследований. Память об этом вре-

мени хранят старые афиши – в «доинтернетную» эпоху мы развозили их по Москве, расклеивая на стенках библиотек, вузов, научных институтов, имеющих близкий к нам академический профиль. Коллекция этих афиш где-то сберегается Еленой Петровной (опять-таки – экспонаты для «музея истории ИВГИ»).

Публикационными проблемами основатели Института занялись практически с первых дней его существования. Поначалу в РГГУ вообще не было никакого издательства, а потому устные формы научного дискурса, единицей которого был доклад на семинаре, поневоле занимали значительное, чуть ли не определяющее место в деятельности ИВГИ. У Елены Петровны сохранилось множество аудиозаписей, которые поначалу делались на наших домашних магнитофонах (может быть все же о «музее ИВГИ» стоит подумать?).

Соответственно, первым издательским проектом оказались «Чтения по истории и теории культуры» – серия брошюр, каждая из которых, по первоначальному замыслу, содержала публикацию одного из этих докладов. Впрочем, проект, который был задуман как серия препринтных публикаций, предназначенных лишь для ознакомления ближайших коллег с результатами наших текущих исследований, по своему значению далеко превысил масштаб подобных задач, став полноценной и весьма представительной монографической серией, количество выпусков кото-

рой перевалило за семьдесят. Эта «желтая серия», как ее называют по цвету обложки, была – и возможно остается – любимым книгоиздательским детищем Елены Петровны.

А жизнь за стенами университета порой заявляла о себе очень энергично. 4 октября 1993 года на семинаре ИВГИ должен был прозвучать доклад Нины Брагинской «Автаркия – греческое слово или новоевропейский термин»; кроме того, на тот же понедельник был назначен вступительный экзамен в аспирантуру. Накануне вечером я обзванивал сотрудников Института, согласовывая с ними время завтрашних мероприятий.

– О чем вы, Сережа? – спросил Павел Гринцер. – Какой экзамен? Какой семинар? Нынче ночью они возьмут власть и начнется кровавая резня...

Да. Вожди вооруженных банд, на произвол которых был оставлен город (милиция с его улиц куда-то исчезла), именно это и обещали. Продолжался штурм телекомпании «Останкино», и, казалось, досматриваемый теперь акт исторической драмы вот-вот завершится самым кошмарным образом – и на сцене, и в зрительном зале. Но все же я упорно старался сохранить ритм наших трудовых будней – то ли из-за нежелания поверить в подобный исход (даже вопреки его кажущейся очевидности), то ли просто пытаясь от надвигающегося ужаса. И с утра пошел на работу.

В кабинете раздался звонок.

– Сергей Юрьевич, – сказал девушка, поступающая к нам в аспирантуру (по-моему, ее звали Марина), – я не могу выйти из дому, переулок простреливается. Что будет, если я не приду на экзамен? Как мне быть?

Я разрешил ей не приходить, обещав собрать экзаменационную комиссию потом (когда потом? Наступит ли это потом?)

Меж тем уже начинался штурм здания Верховного Совета РСФСР, являвшегося на тот момент штабом вооруженного мятежа (хотя все это уже называлось не иначе, как «Белый дом» и «парламент» – ох, уж это языковое сопротивление реальности!).

Тем не менее, семинар состоялся, ИВГИ собрался в полном составе, и под звуки пушечных выстрелов, под дребезжание оконных стекол (оказалось, что наша Миусская находится не столь далеко от Краснопресненской набережной) Нина Владимировна рассказывала об автаркии...

А б декабря 1993 года, через сорок дней после кончины Юрия Михайловича Лотмана, в Институте высших гуманитарных исследований состоялись первые чтения его памяти. С тех пор ИВГИ ежегодно проводит Лотмановские чтения, уже ставшие традиционными и в какой-то степени продолжающие традицию знаменитых тартуских симпозиумов сорока-сорокапятилетней давности.

Такие эпизоды первого двухлетия ИВГИ вспомнились мне сейчас. А что помнится Вам, Леночка, из этого времени?











Дмитрий Бак

Лена Шумилова мне необходима, я в этом убежден, хотя прямо в словах подобные пафосные вещи как-то не формулируются, даже и на ум почти никогда не приходят. Близкие и дорогие люди дороги нам по-разному: кто-то выручкой, кто-то преданностью, иные — тем, что делают нас лучше. Лена Шумилова — особый случай: за двадцать лет дружбы я не раз ловил себя на том, что мне даже не общение с нею необходимо, но просто ее присутствие где-то в Москве: в Черемушках ли, или на Щипке — не так уж важно. Это какое-то очищенное ощущение взаимного притяжения, которое не требует никаких зримых фактических подтверждений. Так у меня в жизни почти не бывало, потому что Лена — такая одна на свете.

Здесь что-то особенное: какой-то редкостный дар *бескорыстной ответственности*, заинтересованного участия в том, что вроде бы никак не отвечает личным интересам. Вернее сказать, своим и личным становится то, что касается других в большей степени, нежели самой себя: так нынче вести себя немодно, странно, почти невозможно. Присутствие на чужом пиру без похмелья, заинтересованное

участие во многом и многих — вот причина того, что Лену Шумилову знает весь белый свет. В разных городах и весях повторялась одна и та же сцена, при произнесении ее имени — теплеют лица и раскрываются сердца. Поэты и прозаики, ученые и художники, диссиденты и высокого ранга функционеры, высоколобые интеллектуалы и соседи по деревенским медленным дням — все готовы о ней сказать: да она же наша, своя! Я думаю, все не так просто, ведь способность быть своим человеком в очень разных компаниях означает особую гибкость сознания, потребность оградить самое сокровенное в себе от всех, даже от близких. Иначе это называется скромностью, самодостаточностью, чувством собственного достоинства — опять приходится произносить приблизительные и полустертые слова...

Лена – человек, на которого можно положиться, это друг, помнящий родство, но об этом родстве молчащий, не требующий ничего взамен за симпатию и добро. Она спасала меня в самых головоломных ситуациях, иногда почти фарсовых. Если вдруг нужно где-то похранить (всего-то года полторадва!) полторы-две тысячи книг до лучших квартирных времен – кто выручит? Конечно, Лена, обитающая в двух уютных и так уже до отказа заполненных книгами комнатках на Профсоюзной, напротив магазина «Охотник» – там, за небольшим рынком, который ныне взрезан и распахан под кварталы газпромовских небоскребов. А если нужно переправить транзитом с Украины на ПМЖ за океан старых родителей, которые и до встречи с дорогой моей столицей находятся в полном шоке от предстоящего, – куда податься? Правильно, к той же Леночке, Лене Шумиловой.

Я противоречу самому себе: только сказал, что связывает меня с Леной чувство, очищенное от бытовых подробностей и реальных событий, и — тут же пустился в воспоминания... Как мы делали с Леной книгу незабвенного и великого Владимира Николаевича Топорова о карамзинской «Бедной Лизе»! Как разбирали вместе четкие маргиналии чернилами: «Дорогие Елена Петровна и Дмитрий Петрович, спасибо за предложение заменить фразу «- - - » на «- - - -», мне кажется, это будет точнее. А вот вместо предложенных вами слов «_ _ _ _ » я бы просил вернуть в текст мои прежние, поскольку...»! Как сочиняли ответные заметки на полях: начнем фразу «Уважаемый Владимир Николаевич...», а дальше так и хотелось просто написать «мы Вас любим...».

Да, именно так: деятельная и самоотверженная любовь, — ничем не мотивированная и никак не заслуженная, — вот что всегда лучилось и лучится из глаз Лены. Не так уж важно, что она гениальный по внимательной въедливости книжный редактор, Лена такой же пристальный свидетель и слушатель наших дел и слов, их (дел и слов) безошибочный оценщик на серьезность и подлинность.

...Полтора десятка лет в легендарной своими московскими жителями деревне Грозино случился пожар, горела банька московского художника-дачника. И ровно половина деревни (в которой не было ни запаса воды, ни шланга, ни даже телефона), вдоволь наглазевшись на зарево, — спокойно удалилась на покой. Это были жители наветренной стороны, их дома не могли загореться от искр и горящих остатков злосчастной баньки, в изобилии поднятых в воз-

дух порывами сильного ветра. За ними потянулись и те, чьи дома находились в опасной зоне: авось пронесет! Кульминацию событий можно опустить — на рассвете Лена Шумилова и тесный кружок друзей, мирно посиживали у дымящегося обгорелого остова, более ни для кого не опасного. Ночь прошла незаметно — надо было всего только время от времени приносить в ведрах воду из реки и заливать то и дело заново вспыхивавшие почерневшие от огня доски...

Готовность выручить, спасти от напасти ближнего и дальнего, знакомого и первого встречного в сегодняшней жизненной толкотне почти совершенно утрачена. Присутствие при наших суетных делах Елены Петровны Шумиловой для меня означает очень простую вещь: ничего страшного не случилось, ничто не прошло, не кануло. Спокойно, друзья, все будет путем!

Спасибо Вам, дорогая Леночка, давайте повидаемся, посидим-поговорим, славно нам будет!







Наталия Мазур

ЕСЛИ ГОРОД, ТО КАКОЙ?

Город – Нью-Йорк, страна – Италия, стихия – море, эпоха – 1968 год, композитор – Пьяццола, инструмент – виолончель, танец – танго, напиток – Аи.

Лену я впервые увидела в начале сентября 1993 года – сентября теплого, яблочного, августовского, ничем не предвещавшего последовавшей за ним бурной осени... Для меня, пять лет просидевшей безвылазно в пыльной «стекляшке» филфака МГУ, лето и осень того года стали упоительным временем знакомства с живой наукой; «все равно что после мелких и неудобных стаканчиковнаперстков вдруг выпить прямо из-под крана холодной сырой воды». Лейтмотив тех месяцев – фраза «Я видела живого NN», произносившаяся с неослабевающим восторгом. Тогда и завязался

пучок человеческих связей, определяющих сегодня мою жизнь, и одним из главных и драгоценнейших его узелков стала Лена.

В ИВГИ меня привел всеобщий Вергилий той поры, вездесущий и всесвязующий Александр Львович Осповат. В университет мы пришли на какую-то конференцию или доклад, но ни докладчика, ни предмета не помню вовсе, память сохранила только зрительные и эмоциональные впечатления: ворох желтых листьев на Миусской, огромный двор университета, студенты и студентки, ведущие себя с непривычной свободой - чего стоила одна длинноногая красотка в умопомрачительных шортах (ныне видный деятель шведско-российских культурных связей), прослушавшая ученый доклад на коленях у рыжего юноши (ныне заметной фигуры в ресторанном и журнальном бизнесе²) - все было не так, как в моей только что закончившейся и, по правде сказать, довольно серой студенческой жизни, а восхитительно иначе.

¹ И слово «красотка», и умение восхищенно оценить женскую красоту – изначально «шумиловские».

² Может быть, память меня обманывает и колени принадлежали другому юноше, ныне известному гуманитарному издателю; вся эта стайка замечательно и по-разному одаренных молодых людей столько раз потом встречалась мне вокруг Шумиловой и в связи с ней, что отдельных подробностей уже и не вспомнить.

Когда после доклада Осповат предложил зайти в ИВГИ, мне, и без того переполненной новыми впечатлениями, стало не по себе – а ну как из «теплокрылатого воздуха» на меня слетят и смещаются все великие имена, связанные с этим славным заведением? Но я покорно побрела за своим стремительным и не по-московски белоштанным провожатым по лабиринту лестниц и переходов, в котором за много лет только этот, пройденный тем сентябрьским вечером путь твердо выучен: вся ориентация на местности у меня до сих пор происходит «относительно Лены».

ИВГИ оказался маленькой и довольно невзрачной комнаткой без единого великого мужа или хотя бы его портрета: вместо них на стене висела одинокая фаюмская Сафо. И такая же кудрявая и большеглазая красавица поднялась нам навстречу, чтобы шумно и со вкусом расцеловаться с моим спутником. Тут уж я и вовсе растерялась: что делает в святилище науки эта брызжущая заразительным весельем женщина, зачем она здесь, в этой пыльной комнатке, на диване, покрытом по дачному выцветшим полосатым покрывалом³? Такой – нежно-загорелой, освещенной золотыми лучами закатного солнца сквозь завитые зеленью окна, – я ее и запомнила (когда позже я узнала,

что Лена родилась в ласковом и щедром к нам месяце Девы, то подумала, а когда же еще?), так и связалась она в моем сознании с упоительной атмосферой начала 1990-х – с воздухом свободы и никого еще не обманувших ожиданий.

Судьба развела нас на три месяца, на протяжении которых мелькнула только фамилия Шумиловой - в числе тех, кто пошел защищать городскую думу. Упоминание зацепилось невесомой бирюлькой, которая впоследствии развернулась в историю Лениного диссидентства, рассказанную со смехом, с любимыми шумиловскими глаголами движения: «подхватилась», «побежала», «помчалась» - перепрятывать кассу, передавать запрещенку, собирать деньги. Строго говоря, цельной истории услышать не пришлось - это всегда арабеска, подчиненное предложение в рассказе о ком-то другом. Попробуйте напрямую расспросить Шумилову о ее вкладе в диссидентское движение: замашет руками, отделается любимым «это неважно», свернет на танцы и беляши.

В следующий раз в РГГУ меня привел горестный повод. На первых, поминальных Лотмановских чтениях Лена была уже совсем другой. Тогда я впервые с изумлением увидела, как неукротимое веселье преобразилось в столь же неудержимую, но предельно организованную энергию. С тех пор я много раз наблюдала эту трансформацию, но не

 $^{^3}$ О эти диван и покрывало – сколько великих ученых на них сидело и лежало!

перестаю ей восхищаться: мне, в моменты напряжения нервной и мрачно-сосредоточенной, так и не удалось научиться той восхитительной легкости, с которой Лена переходит из дионисийской стихии в аполлоническую и обратно. Помню, как посреди многодневной международной конференции, все нити которой держались и двигались в лад исключительно благодаря Шумиловой, она склонилась ко мне и прошептала, указывая на старинные ониксовые бусы: «хорошо я их перенизала? вчера так плясала, так плясала, что бусы порвала»4. Из воспоминаний этого же порядка ее возмущенный возглас «какая я вам Петровна? просто Лена» – и правда, ощущение, что Шумилова по гамбургскому счету помоложе меня будет, с годами только крепнет (может быть, именно эта черта и позволила ей с такой легкостью объединить вокруг себя людей разных поколений? 5).

В декабре 1993 года у меня уже не возникло вопроса о том, что делает в университете эта красавица - ее уместность и нужность не вызывали сомнений. Но полностью роль Шумиловой я оценила, только соприкоснувшись с работой ИВГИ вплотную - сначала в роли гастролераорганизатора конференций, а потом и изнутри, в качестве сотрудника. Да простят мне все покойные и ныне здравствующие ученые, составившие славу этого учреждения, но ИВГИ без Лены существовать бы не смогло. Это ее добрая воля, ее бескорыстная и всепрощающая любовь объединили неуживчивых, ревниво стерегущих свою инакость и независимость ученых в нечто целостное (коллективом это назвать трудно, но с другой стороны, можно ли свести людей, упрямо пробивающих каждый свою дорогу или хотя бы тропинку в науке, в «единый коллектив»?). ИВГИ - особая разновидность «общества индивидуумов»: сообщество одиночек, объединенных не столько социально-экономическими факторами, и не только идеей «большой науки» (подозреваю, что представления о «настоящей» науке у многих из нас довольно разные), сколько Лениной энергией созидательного добра.

Блестяще организованные семинары и конференции, виртуозная редактура, превращение мучительных бюрократических процедур в визит к доброжелательным соседям (кто в универси-

⁴ Мотив танца — неотъемлемая часть шумиловского портрета. Когда мы почему-то долго не видимся и я спрашиваю у наших общих знакомых, как Лена, чаще всего слышу фразу «пляшет и поет» (на втором месте по частоте спонтанного возникновения — «веселая и кудрявая»).

⁵ Ленино свойство соединять людей превосходит границы разумного: благодаря ее рассказам о «моей Катьке», «моей Майке», не говоря уж о «моем Алеше», люди, виденные мною от силы раз, стали, сами о том не подозревая, частью моей жизни.

тетской администрации не расцветает при виде Шумиловой?) – все это еще можно отнести к выполненным и много раз перевыполненным рабочим обязанностям. Но умение в любой момент выслушать и поддержать, сбор денег на лечение, поиск врачей, готовность быть рядом до конца, «до самой могилы» – какой должностью ее объяснишь или вознаградишь?

Ласточка и дочка, сестра и подруга, крепость наша и щит – все это ты, милая Лена, Ленка, Леночка, Елена Петровна Шумилова.

Спасибо тебе, родная!



ДОРОГАЯ ЛЕНА!

А ведь правильно писала Ахматова, что всякая попытка связных мемуаров – фальшивка. Хотелось бы мне неторопливо вспомнить, как началось наше знакомство, когда и каким образом оно превратилось в те отношения дружбы и понимания с полу-взгляда, которые мне так дороги (нескромно надеюсь, что, хотя бы отчасти, и вы чувствуете то же) – и не могу восстановить. Обычная иллюзия: так было всегда, или это случилось сразу. Может быть, и правда? И всегда, и сразу.

Я в РГГУ гость, но гость с давних времен, с золотых времен начала ИВГИ. Ушли многие, но остается институт, и остаются мои друзья и коллеги.

И еще до первого прихода по лабиринту коридоров в комнату ИВГИ (выучила только сейчас, да и то нетвердо), я знала – от Елеазара Моисеевича, Владимира Николаевича, Сережи Неклюдова, Лены Новик – в чьих руках сосредоточен ЦУП института. О чем ни спросишь, о расписании ли за-

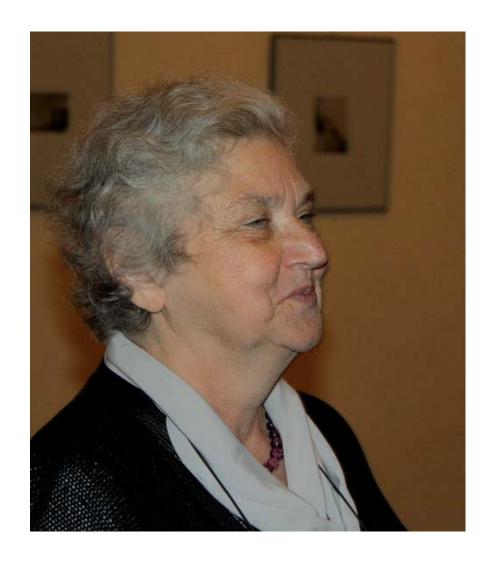
седаний, о научных планах и темах, об изданиях, о пропуске, да о чем угодно – первое слово *Шумилова*, *Елена Петровна*, *Лена*, везде-сущая в буквальном смысле слова, стержень, опора.

Потом познакомились: доброжелательность, четкость, идеальная деловая память, быстрая энергичная рука, твердая, потому что поддерживающая.

Потом появились совместные дела. Потом вместе пили чай и, конечно, хохотали. Люблю я эту комнатку еще и потому, что мне там всегда уютно и тепло с Леной, хотя и неловко от ее «опережающего внимания». И знала я о сложностях и тяжестях ее жизни – но не от нее. Никогда ничего не читалось в ее глазах, ничто не могло изменить ее подтянутости и элегантности. Деятельность ради других – вот что держит этого человека. Набираюсь сил от вас, дорогая Лена.

Когда-то давно поэт Анри Волохонский посвятил В.Н. Топорову восторженную оду («Похвалу»). Когда я думала о поздравлении вам, Леночка, у меня в голове все время вертелась первая строфа, и я все думала, как бы ее переиначить на ваш случай. Неуклюже, но все-таки придумала – от чистого сердца.

Пусть конями иные хвалятся В колесницах живых паров, На других пусть хоть небо алится, А у нас-то есть *Shumiloff*!





Андрей Зорин

ПОПЫТКА ГРУЗИНСКОГО ТОСТА В ТРЕХ ЧАСТЯХ, с тремя моралитэ, прологом и эпилогом

Е.Ш.

Пролог

Даже странно себе представить, что я познакомился с Леной Шумиловой так недавно, всего лет пятнадцать тому назад, а вся предшествующая жизнь прошла, как по другому поводу выразился писатель Марамзин, «без достаточной пользы». В середине 90-х, поступив на свою первую в жизни работу на Истфил РГГУ, я стал участвовать в Лотмановских чтениях и семинарах ИВГИ. Так что впервые я увидел Елену Петровну в роли организатора конференций и других площадок для научного общения.

В ту пору, как все помнят, для российских интеллигентов, вроде меня, наконец открылся мир,

и я даже слегка злоупотреблял предоставленными судьбой и коллегами возможностями попасть в разные экзотические места. Стандартной формой путешествия для нашей социальной группы была поездка на конференцию, и я мог сравнить домашние форумы, прежде всего устроенные Еленой Петровной, с заграничными.

Все три эпизода, о которых пойдет речь, произошли на конференциях 1990-х годов. Опыт участия в них в той или иной форме отразился в моем сборнике «Где сидит фазан». Надо ли говорить, что редактором этого сборника тоже была Елена Петровна.

Часть первая

На конференцию в Ла-Хойе в южную Калифорнию я приехал в октябре 1996 г. из Техаса, где я преподавал семестр по Фулбрайтовскому гранту. Богатый университетский пригород с пальмами на океанском берегу недалеко от границы с Мексикой сильно напоминал парадиз и располагал к соответствующему жизнеощущению. Обычно мало склонный к физическим упражнениям, слиянию с природой и общению с малознакомой фауной, здесь я дал вовлечь себя в утренние купания в ледяной океанской воде, где почти задевая нас боками, бултыхались толстые тюлени.

Все остальное было под стать этому антуражу. Сама конференция выделялась идеальным форматом – каждому докладчику предоставлялась отдельная часовая сессия, где за его кратким вступительным словом следовало подробное обсуждение. Тексты докладов были разосланы и прочитаны заранее. Вечерами американский коллега водил меня на ознакомительные прогулки по мексиканским барам. Он был шокирован моей неспособностью различать сорта текилы и взялся заполнить этот пробел в моем образовании.

Мое выступление было запланировано ближе к окончанию конференции. Честно признаться, я волновался и, разложив свои бумажки на столе минут за пять до начала заседания, отправился в свой номер, чтобы воспользоваться гостиничными удобствами. При этом я продолжал отрабатывать в уме заготовленое вступление к дискуссии и не обратил внимание на мелодичный звон, раздавшийся за моей спиной, когда я закрыл за собой дверь в ванную. Только направившись обратно, я обнаружил, что этот приятный звук произвела отвалившаяся дверная ручка, упавшая на кафель.

Последствия этой незначительной поломки были, однако, совершенно ужасными. Сплошная деревянная дверь открывалась вовнутрь и была к тому же совершенно ровной, никаких впадин или выступов, чтобы ухватиться и попытаться выта-

щить ее на себя. Я попробовал подцепить ее снизу зубной щеткой – бесполезно, в щель над полом было бы трудно просунуть и лист бумаги.

Всю меру безвыходности своего положения я оценил сразу. Конечно, я знал, что на следующее утро в номер придет горничная, так что при наличии работающих водопровода и канализации гибель мне, в общем, не угрожала. К тому же возможность в любой момент принять горячий душ даже придавала моей изоляции известную комфортность. И все же перспектива провести подобным образом почти сутки вызывала содрогание, а мучительней всего было вообразить, что в ближайшее время неминуемо начнет происходить в зале заседаний.

Я представлял себе, что подумают коллеги о моем внезапном исчезновении буквально за несколько минут до доклада. Вряд ли они отправятся искать меня в номер, в лучшем случае попробуют позвонить. А подойти к телефону я все равно не смогу. Да если даже они и придут и станут стучать, как докричаться до них через две тяжелые двери. Скорее всего, они немного подождут, а потом, решив, что я от волнения преждевременно отправился изучать проблемы текиловедения, пожмут плечами и перейдут к следующему обсуждению. Никакой перспективы избавления от кошмара и позора я не видел. Хорошо по крайней мере, думал я, что этот позор продлится

недолго: на следующий день, когда я, по моим расчетам, должен был выйти на волю, нам всем предстояло улетать из Ла-Хойи. Поколебавшись несколько секунд и почти не веря в чудо, я все же начал дурным голосом вопить: Help! Help!

Чудо все-таки произошло. Один из участников конференции проходил мимо моей комнаты, торопясь на мое выступление и, даже не вполне разобрав доносившиеся слова, понял, что происходит что-то неладное. Конечно, он не догадывался, что собственно голос докладчика он уже и слышит, но все же побежал за помощью. Буквально через минуту в мое узилище ворвался дежурный филиппинец с гаечным ключом. Собирался ли он с его помощью устранять технические неполадки или разбираться с моими обидчиками, я не успел выяснить, поскольку опрометью помчался вниз в зал заседаний.

Опоздал я буквально на несколько минут и, невзирая на пережитый шок, сумел все-таки произнести нужный текст и даже как будто адекватно реагировал на вопросы и реплики. Никто ничего не заметил, только одна из коллег спросила меня, не слыхал ли я, как кто-то на втором этаже звал на помощь, и не знаю ли я, что там случилось. Набравшись духу, я признался во всем, чем, кажется, изрядно повеселил свою собеседницу.

По воспитанной в СССР наивности я приписал необыкновенную обходительность, которую

гостиничная администрация проявляла ко мне в тот вечер и на следующее утро, исключительно достоинствам западного сервиса и все время порывался извиниться за доставленное беспокойство. Только сильно позже мне разъяснили, что я упустил случай содрать с гостиницы компенсацию за моральный ущерб, нанесенный мне «техническими неполадками, которым не место в нашей славной современности», выражаясь словами Зощенко из его бессмертной «Водной феерии». Так что в отличие от героя рассказа, получившеготаки «сорок шесть рублей за подмокший чемодан», я увез из Ла-Хойи только устную новеллу об одном из самых страшных мгновений своей жизни. Впрочем, и это тоже кое-что.

Моралите: Когда конференции организует Елена Петровна, никто не чувствет себя изолированным и обреченным. А «безвыходных положений» и вообще не бывает.

Часть вторая

Примерно через год после этого события, в сентябре девяносто седьмого меня занесло на конференцию, проходившую на одном из островов архипелага Лофотен, находящегося у западного побережья Норвегии за Северным полярным кру-

гом. Конференция была приурочена к чрезвычайно своеобразному культурному событию – Северный совет, объединяющий скандинавские страны, открывал экспозицию «Искусство в природе». Согласно замыслу кураторов, сорок пять ведущих мировых скульпторов поставили на необитаемых островах архипелага свои скульптуры. Разумеется, видеть эти работы могли, если не брать в расчет птичьих стай, лишь заплывающие туда время от времени рыбаки и пассажиры пролетающих самолетов. Впрочем, может быть, это искусство предназначалось для будущих поколений, если им суждено будет заселить эти пустынные места.

Для участников конференции была организована морская экскурсия по островам. Выехав ранним утром и пропутешествовав весь световой день, мы успели осмотреть лишь шесть из сорока пяти работ экспозиции. Надо сказать, что скульптуры мне чрезвычайно понравились, однако, сильный ветер и естественный для заполярных широт холод, сделал наше путешествие довольно мучительным предприятием. Неудивительно, что первым же делом по возвращении в гостиницу я потянулся в бар – о том, чтобы коротать вечер не согревшись, было страшно и подумать. Вопреки моим ожиданиям, я оказался единственным посетителем - все остальные участники экскурсии куда-то разбрелись. Не зная, радоваться ли мне отсутствию очереди или сокрушаться из-за невозможности найти компаньонов, я попросил у милой девушки, стоявшей за стойкой, пятьдесят грамм коньяка.

- Пятьдесят нельзя, только тридцать, ответила она с приветливой скандинавской улыбкой.
- Давайте тридцать, согласился я не без раздражения на их странные арктические обыкновения.

Девушка зачем-то удалилась в подсобку, но почти сразу же вернулась и сообщила мне, что забыла, что сегодня воскресенье и торговать алкоголем нельзя вовсе, зато она может предложить мне любой сок на выбор или воду со льдом.

Пережить этот удар молча было свыше моих сил и мне оставалось только сказать ей, что как гражданин свободной страны я не могу принять правил их полицейского государства. На дворе стояли еще «лихие девяностые», и я произносил эту тираду почти искренне и с необычайной страстью. Девушка за стойкой, впрочем, отнеслась к моей инвективе с полнейшим равнодушием.

Неожиданно я почувствовал руку на своем плече. У меня за спиной стоял польско-английский философ Зигмунт Бауманн, духовный отец «Солидарности», который был почетным гостем конференции и выступал на ней с пленарным докладом.

– Не вступайте в политические дискуссии, – сказал мне опытный Бауманн, – это бесполезно. Пойдемте лучше ко мне в номер, у меня припасено.

Мой патриотический порыв сразу иссяк, вместе с либертарианским пафосом. Мы тепло провели вечер.

С той поры я помню, что в моей жизни был прекрасный момент, когда два эти мировоззрения оказались легко совместимы друг с другом.

Моралите: Когда конференции организует Елена Петровна, всем всегда тепло и есть что выпить.

Часть третья

Последняя конференция, о которой пойдет речь, проходила летом 1998 года в Европейском университете, однако не в прославленном петербургском, а в его итальянском омониме, возможно, менее известном, но не менее живописно расположенном в горах между Фьезоле и Флоренцией. После заседаний, темными тосканскими вечерами организаторы конференции уезжали на мотоциклах по серпантину домой во Флоренцию, оставляя гостей наслаждаться архитектурным шедевром Микеланджело – особняком с большим лимонным садом. Странным образом на этом итальянском фоне само мероприятие для меня также оказалось окрашенным в тона польско-российского братства.

Одна из польских участниц рассказала мне, что в годы военного положения была приговоре-

на к двум годам тюрьмы за перевод «Скотного двора» Орвелла. В ответ на мою бурную реакцию она попыталась меня успокоить: за перевод такого качества, по ее словам, два года еще слишком мягкое наказание.

Конечно, общность нашего социалистического опыта создавала благоприятные условия для взаимопонимания. Другой случай был, пожалуй, более удивительным.

Пленарным докладчиком на конференции был историк Хейден Уайт. Он явно тяготился этой осточертевшей ему ролью и пытался по мере возможности разнообразить сценарий. Так, в первый вечер за ужином он попросил участников представиться не в том порядке, в котором все сидели за столом, как это обычно делается, а по странам, которые они представляли. Из России был я один, из Польши – двое или трое, зато когда Уайт попросил поднятся немцев, встало по меньшей мере человек тридцать. «Нас опять победили», – шепнул мне на ухо сидевший рядом польский коллега.

Честно признаюсь, что менее всего я ожидал в этом месте столкнуться с реализацией вековой мечты панславистов о единении родственных народов перед лицом тевтонской угрозы. Возможно, я упустил случай воплотить эту мечту в жизнь, поскольку от изумления так и не нашелся, что ответить.

Моралите: Когда конференции организует Елена Петровна, никто не разделяется ни по национальному, ни по государственному признаку.

Эпилог

Дорогая Лена, у меня к Вам только одна просьба – пожалуйста, будьте здоровы!





Ольга Вайнштейн

АНАЛИТИКА ХАРИЗМЫ

Посвящается Лене Шумиловой.

Что такое харизма? Присмотримся к этимологии этого необычного понятия - ведь порой история слова может подсказать больше, чем самые пространные рассуждения. Греческое слово «charisта» означает «дар», отсюда христианское понимание харизмы – благодать, божий дар, например, дар целительства или дар слова; «евхаристия» причащение, буквально «благой дар». На более глубинном уровне «харизма» восходит к древнему индоевропейскому корню «gher», который дает весьма интересный пучок смыслов в разных языках. Он проявляется в английском «yearn» (желать), «hungry» (голодный) и «greedy» (жадный) и в немецком «gern» (охотно) с общим значением «лично хотеть чего-то конкретного, чувственно определенного». Вариант «ghr-ta» лежит в основе латинского глагола «hortari» (поощрять, ободрять), отсюда же английские «hortative» (поучение, проповедь) и «exhort» (призывать, побуждать), т. е. это уже интеллектуальное желание, распространяющееся на других, побуждение к действию или мысли. Наконец, в греческих «kharis» (милость, любезность) и «khairein» (наслаждаться) проступает изначальный момент универсальной радости, удовольствия как для себя, так и для других.

Итак, этимология фиксирует для нас смысловое поле «дар – желание – побуждение – радость», причем желание может осуществляться как в прямом чувственном плане, так и переносном, через других людей, в социальной сфере. Харизматический субъект живет желанием, он желает, но и сам желанен, он одарен и сам дарует, он ответственен за интенсивный кругооборот энергии, при котором выделяется жизненное тепло – радость, признак полноценного контакта с реальностью.

В светской культуре Нового времени харизма сохраняет в себе эту подспудную семантику. Человек, наделенный харизмой, обладает уникальной внутренней уверенностью в себе, в своем даре, и как следствие, неотразимым магнетическим обаянием для окружающих. Макс Вебер, анализируя харизматическое воздействие, говорит о «мягких формах эйфории, которые переживаются либо как мистическое состояние, по-

добное сну, либо более активно в качестве этического обращения»¹. Значит, харизматик, обладая неким чудесным даром радости, способен транслировать эту волну окружающим, которые впадают при контакте с ним в своего рода гипнотический транс.

Первый, самый простой уровень действия харизмы - механизм «заражения», подключение через харизму к энергии коллективного чувственного бытия. Харизматик включает у своих поклонников инстинкт подражания на бессознательном уровне - приведу в пример денди середины XIX века графа д'Орсе. Он был модником, гедонистом и гурманом, отличным наездником и бесконечно привлекательным человеком как для женщин, так и для мужчин. Гедонизм графа д'Орсе был особого плана: не только индивидуальным, а и заразительным: это редчайшая способность наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, начиная с простых удовольствий и кончая более сложными. В компании графа еда как будто становилась вкуснее, развлечения - интереснее, а когда он входил в игорный зал, ставки сразу взлетали. Он был тем необходимым ферментом, который обеспечивал химическую реакцию азарта и удовольствия для целой компании.

 1 Цит. по: *Московичи С*. Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. С. 190.

Один человек проникся безоговорочной симпатией к графу д'Орсе за то, что тот на его глазах необычайно «вкусно» ел бифштексы, так нахваливая мясо, что во всех присутствующих проснулся зверский аппетит. В отношении еды он был подлинным «gourmet» - тонким ценителем гастрономических нюансов². По сути, он был проводником колоссальной жизненной энергии, огненной магмы чувственных радостей, активируя пульс желания в людях, которые из-за своей флегматичности или закрытости, возраста или болезней давно забыли, что такое страсть или острое сенсорное удовольствие, азарт погони за удовольствием. В общении он становился для каждого зеркалом, в котором человек видел свое лучшее «Я» и начинал успешно действовать, исходя из новообретенного самоуважения. Рядом с ним желание стать лучше казалось естественным и осуществимым включался магический кругооборот подражания и желания, исполнения желаний из-за возросшей уверенности в себе: при незаметной помощи графа человек обретал мечту – проекцию своего идеального «Я», которая делалась реальностью.

Встреча с носителем харизмы всегда запоминается по-особому прежде всего из-за благотвор-

 $^{^2}$ Заметим, что французское слово «gourmand» означает просто «любитель поесть».

ного эффекта общения с ним для окружающих. В этом смысле среди моих знакомых я могу с уверенностью сказать об одном человеке с харизмой - это мой университетский учитель германист Альберт Викторович Карельский (1936–1993). Помимо уникальной профессиональной эрудиции он отличался удивительным свойством: его все любили. В нем было море разливанное того особого редкого шарма, который универсально действует и на юных девушек, и на пожилых дам, и на лиц мужского пола - словом, на всех окружающих. Его манера держаться - дружелюбная легкость в общении, сдержанная веселость, спокойная уверенность в себе, непринужденное самообладание - явно была не только следствием хорошего воспитания, но и какого-то таинственного склада души. Все жаждали его общества, искали его дружбы и внимания, радуясь самым мелким знакам его расположения. Равнодушных не помню ни одного. Сейчас, когда прошло уже много лет, я понимаю, что мы были свидетелями и впрямь редкого феномена. Когда я издавала его лекции, не было отбоя от желающих бескорыстно помочь, просто потому что люди его помнят, хотя он умер уже 17 лет назад. Что же за мистерия тогда совершалась у нас на глазах? До сих пор, когда на вечера его памяти собираются ученики, друзья, коллеги, все продолжают дивиться, пытаясь постичь загадку его харизмы.

Харизматичные люди не всегда известны широкой публике. Наличие харизмы, конечно, может способствовать популярности человека, но отнюдь не гарантирует известности. Есть много харизматиков, которые не числятся ни в каких рейтингах, потому что их профессии не публичны. К примеру, известный американский хирургортопед Дрор Палей. Он пользуется безусловным авторитетом как среди своих коллег, так и пациентов. Его впечатляющее влияние объяснимо не только за счет явного лидерства в своей профессии, но и благодаря харизме - при общении с ним все мгновенно ощущают силу его личности, и отсюда возникает уверенность в правильности его решений и компетентности. Даже если пациент приходит на консультацию с множеством вопросов и жалоб, в конце он удаляется с приятным чувством, что все проблемы решаемы и «все под контролем» - доктор передает ему свой заряд энергии. Кстати, Палей говорит на семи языках и свободно общается с каждым пациентом на его родном языке. Не случайно многие пациенты Палея следуют за ним, когда он меняет место работы, или отправляются на консультацию с ним в те страны, где он путешествует.

Однако харизма необязательно является константой. Человек может приобрести харизму с возрастом, или с новым неожиданным, нетривиальным жизненным опытом, но может со време-

нем и утратить. Ведь романтически-сакральная сущность харизмы требует регулярного подтверждения демонстративными действиями, смелыми эскападами, «чудесами», и, если это невозможно в силу неблагоприятных обстоятельств, происходит «рутинизация» харизмы и последующий разрыв эмоциональных связей между кумиром и поклонниками. Макс Вебер использует для описания этого процесса такие метафоры, как охлаждение или затвердевание жидкости, пробуждение от гипноза. Утрата харизматического авторитета сопровождается такими симптомами, как коллективное возвращение к рациональности и исчезновение флёра, магической притягательности лидера, желания подражать ему. Но это реакция извне, а ведь в самой харизматической личности есть нечто, что способствует «остыванию». Возможно, это падение уровня жизненной энергии, утрата везения или, как говорили древние, нарушение «договора с судьбой».

Особо нужно сказать о проблематике харизмы и лидерства. Если в силу особого расклада обстоятельств харизматик попадает на вершины светского или политического олимпа, он имеет все шансы приобрести реальную власть и воздействовать на события уже в более крупном масштабе. Лидер без харизмы – это пешка, заменяемая фигура, он не имеет подлинного авто-

ритета. Полноценный лидер, конечно, должен обладать харизмой, чтобы увлечь за собой людей. Отмечу два, на мой взгляд, основных свойства харизматического лидера. Во-первых, он должен обладать точным чувством исторического времени: выбирать подходящий момент для решительных действий или, наоборот, паузы. Если есть этот интуитивный внутренний хронометраж, события вокруг него будут свершаться вовремя и в правильном месте. И, напротив, синдром «не вовремя» – признак утраты харизмы, когда лидер перестает быть в ладу с самим собой и с миром.

Во-вторых, в харизме лидера нередко есть элемент знакового отличия. Серж Московичи в своей известной книге «Машина, творящая богов» подметил, что носители харизмы часто являются иностранцами: «Они приходят из другого региона или страны: Кальвин из Пикардии, Наполеон с Корсики. Они не принадлежат к господствующему этносу. Сталин – грузин, Маркс – еврей, а папа Иоанн-Павел II – поляк. Другие отличаются какой-нибудь особой чертой – заикание Моисея, паралич Рузвельта, маленький рост Наполеона» (хромота Байрона, родимое пятно Горбачева – добавим мы).

Один из важнейших критериев харизмы связан с социальностью, с тем, как человек воздействует

³ Московичи С. Указ. соч. С. 295.

на других людей. Судя по историческим свидетельствам, совершенно особым влиянием на современников пользовались в свое время харизматичные светские дамы, хозяйки салонов: мадам Рекамье, графиня Кастильоне, маркиза Казати. Они умели создавать network – сеть знакомств и, находясь в центре этой сети, создавать мощное поле влияния, извлекая из этой властной игры и пользу, и удовольствие. Свой дар они использовали для оптимального решения своих жизненных задач.

Лена Шумилова для меня пример харизматика именно по социальному признаку. Когда Лена бывает в Институте, вокруг нее всегда толпится народ – порой бывает трудно пробиться. Будучи центром всеобщего притяжения, она успевает практически все. Нередко она умудряется одновременно общаться с несколькими людьми, говорить по телефону и печатать на компьютере. Многие трудные для Института проблемы безболезненно решались исключительно благодаря такту Лены и ее умению тонко и адекватно общаться на всех уровнях. Ее сети знакомств поражают своей многомерностью.

В ее личности отражается счастливое свойство всех харизматиков – умение вовремя фокусировать свою позитивную энергию на главном, структурировать приоритеты. Если что-то не вписывается в ее картину мира, она не принимает это и мобилизует все внутренние и внешние ре-

сурсы, чтобы выстроить все в соответствии со своими принципами. Это касается не только распределения времени, но и столь жесткой реальности, как здоровье. Исключительный пример ее личной силы и мужества – победа над страшным заболеванием. Лена попросту отказалась принять этот диагноз: «Это не моя болезнь» – такова была ее реакция, и, видимо, единственно возможная позиция для преодоления недуга. В какой-то момент жизни человек берет судьбу в собственные руки. «По существу, каждый человек живет по своей воле. Твердое намерение – универсально действующее средство...» – писал немецкий романтический философ Новалис.

В архаических культурах есть понятие, в чемто родственное харизме – «судьба» в значении «личная доля, участь, везение, жизненная сила». Согласно А.Я. Гуревичу, у древних германцев и скандинавов, например, существует «hamingja» – «это и личная удача, и дух-охранитель отдельного человека, который может стать видимым ему в кризисный момент жизни и либо умирает вместе с ним, либо покидает его после смерти и переходит к его потомку или родичу» 5. В таком контек-

⁴ Novalis. Dichtungen und Prosa. Leipzig, 1975. S. 620.

⁵ См. *Гуревич А.Я.* Диалектика судьбы у германцев и древних скандинавов // Понятие судьбы в контексте разных культур. М.: Наука, 1994. С. 152.

сте «состязание или схватка между людьми могут быть истолкованы как сопоставление их «везений» («Боюсь, что твое везенье осилит мое невезенье») и даже, что особенно интересно, личная удачливость мгновенно проявляется в поступках, речах и даже физическом облике героя. И наоборот, иные персонажи несут на себе печать несчастливой судьбы: «по внешности Скерпхедина, одного из персонажей "Саги о Ньяле", окружающие мгновенно узнавали, что он – неудачник». Получается, что личная судьба создает мощное информационное поле, которое сразу считывается людьми.

Возможно, аналитика харизмы в будущем позволит взглянуть на новом уровне на старинные философские категории «воли», «характера» и «судьбы». Новое время внесло свои нюансы в понимание судьбы, причем романтические мыслители особо акцентировали проблему биографии как личного жизнетворчества. В заключение вспомним опять Новалиса: «Все происшествия нашей жизни – это материал, из которого мы можем сделать все, что пожелаем. Духовно богатый человек может многое сотворить из своей жизни» Харизма – свидетельство подобного счастливого совпадения намерения и результата, эффективного осуществления жизненной це-

ли, максимальной адекватности человека при данных обстоятельствах – отсюда и умение распределять время, и выстраивать социальные сети. Попутный продукт – жизнерадостность, что, собственно, уже заложено в изначальном этимологическом смысле слова. Сложный мерцающий синтез этих понятий не поддается точному описанию, так что лучше, наверное, просто радоваться, если судьба посылает встречу с харизматиком.

⁶ Novalis. Op. cit. S. 396.



ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ТАЛАНТ

(к юбилею Елены Петровны Шумиловой)

Писать о Елене Петровне Шумиловой, о Лене Шумиловой [далее - ЕШ] - легко и трудно одновременно. Совершенно ясно, что без нее не было бы Института высших гуманитарных исследований РГГУ, она - его душа, она - та энергия, которая его одушевляет, и тот разум, который придает форму и деловую консистентность нашим работам, планам и отчетам. Она - тот полет и прорыв, который создает и новые формы, и новые содержания. Например, именно ЕШ придумала в ИВГИ «французский семинар», который уже набрал собственную устойчивую динамику, а после обсуждения в РГГУ в декабре 2009 года моей книжки «Открытая структура: Якобсон - Бахтин - Лотман - Гаспаров» (это обсуждение – тоже было ее инициативой) предложила теоретический семинар под девизом «открытая структура»: нам теперь предстоит апробировать его шансы.

Никто и никогда не может всего. ЕШ много раз говорила: не умею писать статьи. Но она умеет другое, не менее важное - например, сделать так, чтобы пишущие не чувствовали себя брошенными. Ей первой нередко приходится читать наши работы. Один перечень отредактированных и выведенных ею в свет сборников, монографий (это к тому же и вся «желтая серия» чтений по истории и теории культуры) сражает наповал. ЕШ редактор, который не только правит наши стилевые корявости и знаки препинания, но и советует важные вещи - умно и доброжелательно. Помню, как редакционный тандем – ЕШ вместе с Хенриком Бараном - вытащили меня из ступора во время работы над заключением к моей части писем М.Л. Гаспарова для книжки «Ваш М.Г.»¹. Задачи, которые я перед собой поставила, были разноплановыми и трудновыполнимыми. Благодаря редакторской правке, ряду сокращений, которые вывели на первый план главные линии, текст, в конечном счете, получился.

Организационный талант ЕШ – в пределах моего обзора (но я уверена, что не только моего) – не знает себе равных. Он основан на умении по-

¹Ваш М.Г.: из писем Михаила Леоновича Гаспарова. М.: Новое издательство, 2008.

нимать людей, разговаривать с людьми, многое брать на себя, связывать казалось бы несоединимое, обращать все на пользу общему делу. Расскажу о малом, личном - но для меня бесконечно важном. Именно благодаря таланту ЕШ меня взяли на работу в ИВГИ - в той форме, в какой это было единственно для меня возможно. Ректор РГГУ Ю.Н. Афанасьев требовал, чтобы я переходила из Института философии РАН в РГГУ на полную ставку, а в противном случае вообще не хотел обсуждать этот вопрос, тогда как мои человеческие и профессиональные привязанности к Институту философии не допускали подобных разрывов. Неразрешимая ситуация чудесным об разом разрешилась - с помощью ЕШ. Она узнала, когда Ю.Н. Афанасьев должен был прийти в Институт Европейских культур (мы находимся с ИЕКом в одном коридоре), вызвала меня – на тот случай, если вдруг понадобится мое присутствие (и я все время, не высовывая носа в коридор, сидела в нашей комнате), дождалась момента, когда Афанасьев пройдет предполагаемым маршрутом, как бы невзначай отправилась в ту комнату, где за бутылкой пива велись важные деловые переговоры, подключилась к дискуссии, а в нужный момент, когда разговор зашел обо мне, предложила свой вариант, нами заранее обговоренный: взять меня на полставки, как бы подразумевая последующий полный переход. Афанасьев, чуя

подвох, немало сопротивлялся, но в конце концов сдался. Когда ЕШ вернулась в свою комнату, где я ждала ее ни жива, ни мертва, мы вместе прыгали до потолка. Так что я работаю в ИВГИ именно трудами ЕШ, хотя видеть меня в Институте, к моей великой радости, хотели и Е.М. Мелетинский, и М.Л. Гаспаров, и другие коллеги.

Роль ЕШ в жизни ИВГИ хорошо понимал М.Л. Гаспаров. Достаточно взглянуть на последнюю фотографию в сборнике писем «Ваш М.Г.», на которой они запечатлены вместе (это, кажется, также и последняя фотография МЛГ в стенах ИВГИ), чтобы понять, как они друг к другу относились. МЛГ всегда говорил и писал о ЕШ с огромным уважением («Как раз в этот день выйдет, хотя и ненадолго, после второй операции, Шумилова; я сказал "желаю сил", она ответила по телефону "я всегда сильная"»²) и нежностью («передай нежный привет Лене Шумиловой и скажи, что Оля Майорова, которая здесь сейчас преподает, много о ней расспрашивала и выражала самые хорошие чувства»³). Мы втроем – ЕШ, МЛГ и я – в последние годы жизни МЛГ собирались у меня дома, забивались на кухню, разговаривали, не замечая времени, и это были счастливые моменты. А когда МЛГ уже лежал на Каширке, откуда больше

² Ваш М.Г. С. 390.

³ Ваш М.Г. С. 397.

не вышел, ЕШ навещала его и поднимала его дух беседами, воспоминаниями, рюмкой коньяка. Не случайно, что именно ей довелось закрыть ему глаза, и я уверена, что это было ему по сердцу.

Когда мы говорим «организаторский талант», это остается чем-то неясным. В этом общем понятии собрано много разного. Я подробно расскажу здесь только об одном примере, но какой это пример! У ЕШ - сильная интуиция уместного и плодотворного. Именно она увидела в массе разрозненных писем МЛГ нечто цельное: так родилась ее идея отдельного сборника писем к трем адресаткам-соавторам. Этот формат будущей книги нужно было сначала увидеть умственным взором и лишь потом - начать реально собирать эту книгу, продвигать, защищать, оборонять, обеспечивать ее юридическую проходимость и др. Без начальной интуиции целого эта долгая изматывающая работа была бы просто невыполнима. ЕШ отказывалась нарушать единство своего замысла, сколь бы ценными ни были те предложения, которые ей делали: пусть другие материалы, другие письма войдут в другие сборники, это будет уже другая история. Она чувствовала себя обязанной вывести в жизнь то, что замыслила: ради МЛГ, ради их душевной близости и дружбы, ради других людей, которым, как она считала, письма МЛГ могут стать жизненной опорой. Мы обе «болели» идеей сборника и долго вынашивали ее. Казалось бы, что тут такого особенного? Взять тексты писем, уточнить хронологию, написать комментарии и готово. Но это было совсем не просто.

Эта работа, обозначенная в итоге куцыми словами «редактор-составитель», была для ЕШ тяжелым крестом, от несения которого ей не раз хотелось отказаться. Когда речь идет о публикации писем - тем людям, которым автор писем очень доверял, это значит, что мы неизбежно сталкиваемся в них с большим числом мест, которые по тем или иным причинам оказываются проблематичными при выведении их в сферу внимания широкого читателя. Единственно возможного решения тут быть не может. Должны ли мы публиковать все как есть, чтобы письма были подлинными, аутентичными? Такое мнение высказывалось, и не раз. Должны ли мы отказаться от публикации писем на общепринятые 50 лет, пока живы те, о ком идет речь в письмах? Такое мнение тоже высказывалось, и не раз. Ум, интуиция, человеческая чуткость позволила ЕШ вместе с другими членами редколлегии (в которую входили также Х. Баран и К. Поливанов) прийти к решению, которое я считаю в данном случае единственно правильным. Письма публиковать сейчас, не дожидаясь, покуда они станут исключительно достоянием истории науки второй половины XX века в России, потеряв заинтересованного читателя. И вместе с

тем – убрать из писем все личные моменты и обстоятельства, особенно те, которые могли кого-то ранить (острый язык МЛГ всем известен), сосредоточиваясь на общезначимых моментах научного и человеческого общения.

На этом пути были задержки и остановки, когда казалось: все, хватит, нет сил, бросить и забыть, зачем брать грех на душу, не проще ли оставить этот материал неизвестным потомкам? Но интуиция важности, нужности, своевременности этих писем помогала превозмочь отчаяние. Скажу особо о работе ЕШ с оригиналами: она по нескольку раз проверяла каждую запятую - было решено оставить орфографию и пунктуацию автора, не подвергая ее никакой редакторской правке, поэтому за верность оригиналу надо было отвечать головой. Сколько труда было ею вложено в проверку дат и мест, в составление графика командировок и карты маршрутов, особенно при зарубежных поездках МЛГ – случались разрывы, обнаруживались противоречия, а потому выдвигались разные гипотезы, которые требовали постоянных перепроверок.

Сборник «Ваш М.Г.» был принят публикой с энтузиазмом. ЕШ пересылала мне одни отклики, но берегла меня от некоторых других. Так, она не стала говорить мне о болезненно-критическом отклике, напечатанном Омри Роненом в «Звезде», так что я узнала об этом случайно. А мне так

объясняла эту свою установку: «Наташенька, довольно долго мы ничего не читали и думаю - это правильно. Книга вышла на просторы, пусть там и будет, негоже нам в этих просторах суетиться и интересоваться, как ей там. Вполне достаточно знать, что она вызывает острый интерес, они по этому поводу переписываются, какие-то свои мнения высказывают, ну и хорошо». Она очень радовалась отзыву нашего общего друга: «Читается с увлечением и с радостью. Так много хорошего, человеческого и умного». И подобных отзывов было много. Вот ради этого «человеческого и умного» и делалось то, что делалось. Кто для нас МΛГ – «человеческий образец» внимания к другому, нравственный пример? Трезвое указание на то, каким трудом и какими жертвами добывается знание, строится наука - гуманитарная наука как «служба понимания»: внешне она остается неприметной, но лежит в основе западной культуры, немыслимой без этой опоры на науку. При этом в письмах МЛГ идет параллельное продвижение по разным регистрам нашей души и нашего бытия: какой ты человек? и какой ты ученый (исследователь)? Как строить филологию эту «службу понимания» - чтобы между личностным и исследовательским или, как говорил МЛГ, между «наукой» и «творчеством» (которое может обернуться самоутверждением за счет предмета) не было противоречия, не было разрыва?

ЕШ радовалась читательским откликам, кем бы и как бы они ни были написаны. Вот лишь несколько ярких фрагментов из этих откликов. «Эта книга - редкий случай, когда сборник писем ученого к коллегам по цеху оказывается захватывающим чтением для любого человека вне зависимости от его специальности» (К. Мильчин); «Не буду даже приводить фрагменты писем. Начинаешь читать любое - невозможно оторваться» («Живой журнал»). «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе, чтобы издавать частную переписку человека, скончавшегося всего три года назад? И не рок-звезды, не президента - академического ученого?» (М. Визель). «В этих письмах – то же азбучно-простое изложение самых сложных вещей, что и в его стиховедческих и антиковедческих статьях или в заслуженно прославленной "Занимательной Греции", но материал этой проясняющей работы - уже не чужие стихи и не древняя история, а собственная жизнь, включая отчаяние, угрызения совести, одиночество» (Г. Дашевский).

Λюди разных поколений, профессий, интересов воспринимают письма МΛΓ по-разному. Молодежь, которая относится к МΛΓ с придыханием, как видно по откликам на гаспаровском портале и в других местах интернет-обменов, хочет, например, узнать побольше о том, «как непросто было оставаться филологом и просто честным интелли-

гентом в 70—80-е годы; как изменилась эта задача в 90-е, когда основным источником дохода вдруг оказались "зарубежные гастроли"» (и у Гаспарова, действительно, можно об этом узнать). Узнать не просто – как вообще жить, но «как жить среди коллег и сослуживцев, как жить в профессии»⁴. Люди с большим душевным и историческим опытом читают его тексты в модальности всеобщего. Когда МЛГ говорит нам: «удавшихся жизней (если смотреть изнутри) не бывает», то мы понимаем, как важно продолжать - работать, сопротивляться обстоятельствам, «выживать», насколько этот призыв универсально значим и в сфере человеческой повседневности, и в сфере человеческой мысли. Один из откликов на гаспаровские письма, написанный Р. Фрумкиной, так и озаглавлен (строкой из письма мне): «выживи, пожалуйста, и я тоже постараюсь»⁵.

Готовя письма к изданию, ЕШ не раз говорила, что уже знает эти письма наизусть, но все равно каждый раз читает по-разному и каждый раз себя в них видит. Об этом она говорила друзьям и коллегам, некоторые считали это экзальтацией

 $^{^4}$ *Серебряная О.* Феномен Гаспарова. Вокруг книг М.Л. и рецензий на них. http://www.polit.ru/fiction/2009/03/23/sergasp.html

⁵ Фрумкина Р. «Выживи, пожалуйста, и я тоже постараюсь». Polit.ruhttp://www.polit.ru/science/2008/11/14/gasparov_frumkina.html

перетрудившегося человека. Но были и те, кто потом, взявшись за письма, говорил то же самое: вижу в этих письмах самого себя. «Память о том, что другим хуже, чем тебе», - это источник человеческого притяжения, он же и «самый глубокий источник гаспаровской ясности - и самый, наверное, недоступный для нас» (Г. Дашевский). У МЛГ с ЕШ вообще много общего: оба они - «сильные», а потому и не думают о себе, а думают о том, что другим хуже; вот и ЕШ расспрашивает нас всех, что и как, и во все вникает, а у нее у самой болит – и душа, и печенка. В этом они – близкие, рядом, вместе. Хочу немножко пояснить этот момент особого отношения к другому – через письма Гаспарова. Казалось бы, все и так ясно: МЛГ – замечательный писатель, почитайте «Записи и выписки». Но ведь там все объективировано, схвачено, расставлено, как экспонаты в музее человеческой памяти. А тут, в письмах, - человеческие жизни, видно, какие трудные, реальное жжет. А потому каждый читает и говорит «это мое», смотрится в него как в зеркало, опознает и узнает себя через него. В одной из лабораторных записей Бахтина, гаспаровского alter ego, говорится: «не я смотрю изнутри своими глазами на мир, а я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами; я одержим другим 6 . Весь вопрос в том, κmo он – тот другой, чьими глазами я смотрю на себя, в ком я себя узнаю и признаю. Письма МЛГ – это экспериментальное прописывание всего на свете через слово; обычно люди не умеют или не хотят этого делать, а он делает это за нас и позволяет нам увидеть нечто такое, чего иначе мы просто не видим или не можем об этом сказать. В любом случае, работа МЛГ со словом была шире и глубже, чем у подавляющего большинства людей, а потому и следствия этой работы оказываются такими весомыми: его слова воспринимаются нами и как катарсис, и как спасение. Это всегда очень личные слова, сказанные в особых обстоятельствах, но они выступают для нас как общезначимые.

Так вот: без ЕШ ничего этого бы не было. ЕШ действовала демиургически: без ее творческой и издательской воли все это осталось бы сырым материалом для какого-то будущего публикатора (я говорю здесь прежде всего о письмах МЛГ к И.Ю. Подгаецкой и ко мне, так как письма Н.В. Брагинской уже были опубликованы, но также и о том целом, в которое складываются все эти письма вместе взятые – при всех различиях между ними). Не случайно автор рецензии, сказавший немало добрых слов о МЛГ и его адресатах, прямо обращается к человеку, трудами которого это издание было обеспечено: «Особую благодарность хочется адресовать Елене Петровне Шумиловой – составителю книги, без усилий которой это изда-

⁶ *Бахтин М.М.* Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5. С. 71.

ние вообще едва ли бы состоялось. Елена Петровна много лет была ученым секретарем ИВГИ, где работал Михаил Леонович. Я не связана с ИВГИ никакими служебными отношениями, но при этом постоянно слышала от разных своих близких и дальних знакомых, коллег и друзей слова признательности, обращенные к Лене Шумиловой. Михаил Леонович особенно нуждался в ее внимании и помощи – и она сделала для него все возможное – и невозможное тоже»⁷.

Еще одно яркое переживание вдохновляющего участия ЕШ в моей работе было связано с работой над книгой «Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров»⁸. Как-то раз ЕШ, усталая, приехала ко мне домой для очередной сверки текстов писем с оригиналами, а я решилась посвятить ее в мои замыслы, связанные с новой книжкой. Такая открытость вовсе не подразумевалась сами собой, потому что иногда о планах лучше не говорить, пока они не начнут обретать плоть и кровь. Но мне захотелось сообщить ей о моих планах, и я положила перед ее глазами листок бумаги, на котором разместился план-оглавление будущей книги (этот план родился легко и в дальнейшем остался практически без изменений). Реакция ЕШ меня поразила: мало сказать, что это была радость, это был восторг. Наверное, это было связано с тем, что ЕШ увидела в этом замысле продолжение гаспаровской тематики, над которой мы в тот момент вместе работали. Ее эмоция меня окрылила, заразила, я не помню точно сказанных ею слов, но саму эмоцию никогда не забуду. Эта безоговорочная реакция стала для меня важной опорой в дальнейшей работе над книгой. Она и писалась потом под сенью этого человеческого внимания, писалась с невиданным мною прежде чувством свободы, когда мои герои (ЕШ сразу сказала -«Александрийский квартет», имея в виду Лоренса Даррела) вели себя, как им заблагорассудится: не я ими командовала, а они сами решали, что им делать, с кем общаться, а с кем - не стоит разговаривать. Таким образом, двумя важными работами последних лет - изданием писем МЛГ, моей собственной монографией, да и самой моей работой в ИВГИ я обязана Елене Петровне Шумиловой, Лене Шумиловой.

Спасибо ей и низкий поклон.

P.S. Когда-то в самом начале моей работы в ИВГИ мне удалось сделать одну замечательную фотографию. На ней запечатлены ЕШ, молодая, веселая, с немолодыми, но тоже очень веселыми М. Гаспаровым, Г. Кнабе, Л. Баткиным: все трое на диванчике в нашей институтской комнате. Лица, руки, жесты, позы – по всему этому видно, как ей удается объединять всех – даже самых разных и несоизмеримых.

⁷ Фрумкина Р. Указ. соч.

⁸ *Автономова Н.С.* Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. М.: РОССПЭН, 2009.

ТУТ МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ ТУ ФОТОГРАФИЮ, КОТОРУЮ Я ОПИСЫВАЮ!





РАДОСТЬ, ВЫРВАННАЯ ИЗ МИРОВОЙ НЕМОТЫ Мысли о М.Л. Гаспарове, собравшиеся вместе и дошедшие до слова благодаря Е.П. Шумиловой

Среди многих удивительных дел и свершений Елены Петровны Шумиловой, свидетелем (а иногда и участником) которых мне довелось быть за годы работы в РГГУ, я хотел бы выделить одно, которое решаюсь назвать ответственным словом **поступок**. Это ее отношение к Михаилу Леоновичу Гаспарову: постоянная действенная забота о нем в тяжелейшие месяцы его последней болезни и столь же действенное служение его памяти после его кончины. Организация ежегодных Гаспаровских чтений в РГГУ, издание огромного научномемуарного сборника о Михаиле Леоновича¹ и

первого собрания его писем² – все это просто не могло бы осуществиться без Елены Петровны: без ее инициативы, без ее организационного дара, без самоотверженного, на износ, личного рабочего участия.

Поэтому и подарить Елене Петровне в ее праздник мне хочется именно сочинение о Гаспарове: попытку отметить какие-то важные черты его облика и осмыслить некоторые истоки его творчества. Подарить этот текст именно Елене Петровне тем более естественно, что в его основе – диктофонная запись моего выступления 13 апреля 2006 г. на организованном ею заседании в честь дня рождения Михаила Леоновича – первого его дня рождения, который отмечался без него.

Чтобы хоть отчасти сохранить его неповторимую праздничную атмосферу, наверняка памятную всем, кто присутствовал тогда в Профессорской аудитории РГГУ, я не стал превращать выступление в статью³: менять его синтаксический строй, вводить ссылки на литературу, восполнять ситуативную опору на другие доклады и обстановку заседания.

¹Стих, язык, поэзия: Памяти Михаила Леоновича Гаспарова / Редкол.: Х. Баран <...> Е.П. Шумилова; [Изд.] ред. Е.П. Шумилова, М.: РГГУ, 2006. 696 с.

² Ваш М.Г.: Письма М.Л. Гаспарова Н.В. Брагинской, И.Ю. Подгаецкой и Н.С. Автономовой [Изд. ред. Е.П. Шумилова] М.: Новое изд., 2008.

³ Так поступил выступавший сразу вслед за мною Б. Дубин: Дубин Б. Автор как проблема и травма: Стратегии смыслопроизводства в переводах и интерпретациях М.Л. Гаспарова // Новое лит. обозрение. 2006, № 6 (82). С. 300–309.

Но чтобы текст стал все же понятен и для тех, кого тогда «не было с нами» на этом празднике, я должен дать здесь несколько необходимых пояснений.

Перед началом заседания, пока участники собирались и рассаживались, звучала запись голоса Михаила Леоновича: он читал стихи Веры Меркульевой, - а на экране напротив входа сменяли друг друга его фотографии. Показ фотографий продолжался и после начала выступлений, только скорость их смены стала много медленнее. Вступительный доклад был прочитан Н.В. Брагинской. Прозвучала на заседании и звукозапись последнего доклада самого Михаила Леоновича на Лотмановских чтениях (2004 г.), посвященного научному творчеству М.М. Бахтина⁴ – именно об этом докладе я подробно говорю в моем выступлении. Наконец, упоминаемая мной в начале «тризна» - это траурное заседание памяти М.Л. Гаспарова, В.Н. Топорова и Е.М. Мелетинского, которым открылись Лотмановские чтения 21 декабря 2005 г.⁵

Итак,

Выступление о Гаспарове на первом дне рождения без него

После такого стройного и классического выступления Нины Владимировны я позволю себе немножко больше вольности. Думаю, что меня оправдывает то, что если в прошлый раз мы вспоминали Михаила Леоновича на тризне коллективной, то сегодня мы его вспоминаем всетаки на дне рождения, давайте не будем это забывать. И те кадры, которые мы видим на стенке, и тот голос, который мы слышали в начале... Доклад действительно очень плохо записан, а вот чтение стихов, не знаю, как у кого, а у меня вызвало ощущение счастья. Я этих стихов никогда в исполнении Михаила Леоновича не слышал, для меня это открытие... И то, как он читает - совершенно своеобразно - тоже открытие. Стихи, может быть, не бог весть какие (во всяком случае, последние, на которых закончилось, не бог весть какие), а в исполнении Михаила Леоновича они звучат ну прямо как ограненный алмаз, так он подает их и насколько он сам, очевидно, получает удовольствие от ритма, который нам передает. И вот это, может быть, главное ощущение, которое мне хотелось бы, чтобы мы сегодня запомнили, восстановили, осознали: что нам было дано огромное счастье и радость знать Михаила Леоновича, встречаться с ним, читать его, слушать.

 $^{^4}$ Доклад опубликован: Гаспаров М.Л. История литературы как творчество и исследование: случай Бахтина // Русская литература XX—XXI вв.: проблемы теории и методология изучения. Материалы Международной научной конференции 10–11 ноября 2004 года: МГУ, филологический факультет, 2004. С. 8–10.

 $^{^{5}}$ См. подробный отчет о нем: *Мильчина В.А.* Печальные, но не последние «Числа в системе культуры» // Новое лит. обозрение, 2006, № 177. С. 539–545.

Даже тогда, когда мы с ним не соглашались, мы все равно понимали, что он – явление, а если не понимали, то тем хуже для нас, и давайте поймем хоть теперь. Это огромное явление, которым нас одарила судьба, и про этот дар надо помнить.

Что касается доклада, который мы слушали... Я его сегодня слышал в первый раз, хотя, в общем, этот круг идей знал, начиная со старой публикации Михаила Леоновича в Тарту, которая была много десятилетий назад... Что важно сейчас о нем сказать? Наверно, прежде всего не надо нам обижаться за Бахтина, за то, что он назван не филологом. Во-вторых, не цепляться за слова, не абсолютизировать их - слова всегда нас подводят, в частности, мне кажется очень неудачным слово творчество, вот так, как его применяет Михаил Леонович - в противопоставлении исследованию, потому что исследование - тоже творчество, и творчество может быть исследованием, это не противопоставленные вещи. Очевидно, Михаил Леонович имел в виду различие между созданием новой реальности и исследованием реальности уже существующей...

Но главное в другом. Мне приходится здесь в РГГУ читать курс «Введение в общую филологию» – из-за него я и не слышал этот доклад тогда, когда он был произнесен Михаилом Леоновичем. Опираясь на материалы этого курса, я теперь могу утверждать с абсолютной уверенностью, что филологом в 20-е годы не был не только Бахтин:

это вообще была антифилологическая эпоха, безусловно. Вплоть до 60-х годов XX века почти вся наша лингвистика и литературоведение существовали под флагом антифилологическим. В лучшем случае слово филология просто не вспоминалось – Тыняновым, Жирмунским, Шкловским. А в худшем – или, скажем, не в худшем, но в более частом – случае утверждалось: лингвистика – это не филология (так сказано в учебнике Реформатского), и литературоведение – это тоже не филология (в «Заметках по общей лингвистике» Соссора). В первые две трети нашего века слово филология было избыточным. По крайней мере, в России, это я смею утверждать. Ну, за очень небольшими исключениями: Винокура, Щербы, Кенигсберга.

А Михаил Леонович пришел в науку – его первая печатная работа относится к 58 году – как раз к тому времени, когда в 60-е годы стал намечаться общий поворот к филологии, когда слово филология снова стало нужным. Михаил Леонович – как раз один из тех, кто нас повернул и вернул к пониманию того, что филология – нечто особое, отличное и от литературоведения, и от языкознания. Поэтому его тезис, что Бахтин не филолог, не означает, что Бахтин не литературовед. А филология – Михаил Леонович достаточно точно описал, что он сам под ней понимает.

Тут я хочу вернуться к тому, с чего я начал: к радости. Цена и величие той радости и того счастья, что дарил нам Михаил Леонович и продол-

жает дарить сейчас, еще увеличиваются от того, что и радость, и счастье возникли – посмотрите вот на этот кадр на экране - из глубоко трагического мировосприятия. Это знают, наверное, все, кто читал «Записи и выписки», но это должны особенно ощущать те, кто читал его работы о филологии: «Филологию как нравственность», выступление в дискуссии о филологии и философии в «Новом литературном обозрении». Можно сравнивать то, что в них сказано, с другими концепциями филологическими, которые существовали рядом: с концепцией Аверинцева, с тем, что писал в это время старший их современник Конрад... В восприятии филологии у Михаила Леонтьевича есть то, чего нет ни у кого из них. Все говорят, что филолог должен ограничивать свою субъективность, что филолог не может преодолеть ее до конца, но должен ее ограничивать, что он должен стремиться понять то, что перед ним: текст и его автора. Но ни один из других крупных филологов не говорил того, что сказал Гаспаров: что фактически тексты от филолога закрыты. Что тексты – это нечто абсолютно замкнутое, непроницаемое для нас.

Вот тут как раз его главный спор, на мой взгляд, с Бахтиным: никакого диалога с текстами нет. Тексты сами по себе, и филолог, да и вообще читатель, как говорит Михаил Леонович, не вступает с текстами в диалог, он только скромный переводчик, который пытается перевести их

с мертвого языка. Все, наверное, кто читал «Критику как самоцель», помнят неожиданное утверждение, что Пушкин для нас так же закрыт и непонятен, как древний ассириец. Это казалось, может быть, кому-то перехлестом, но теперь видно, что это глубоко логичный вывод из всей концепции Михаила Леоновича.

Вот почему, когда Гаспаров описывает, как работает филолог, то те точные методы, которые, скажем, у Аверинцева возникали, как сугубо подсобное орудие в деятельности понимания, у Михаила Леоновича оказываются основой работы филолога. Эту аналогию, может быть, Михаил Леонович, и не принял бы, но для тех, кто здесь присутствует из лингвистов, скажу: филология в понимании Гаспарова очень напоминает американскую дескриптивную лингвистику, исходившую из положения, что исследователь обязан описывать язык, не опираясь на свое знание этого языка. Михаил Леонович фактически принимает ту же самую максиму: мы должны уметь прочесть тексты и восстановить по ним язык, которого не знаем. И то, что для других филологов подсобно: подсчеты, дешифровка, количественные методы, - всё это для Гаспарова оказывается сутью филологии. Вот то, чего не было больше ни у кого из теоретиков, и то, что противостоит другим концепциям филологии.

Если быть честным, надо признать, что перед нами на самом деле довольно страшная картина.

Если у Бунина «на мировом погосте звучат лишь письмена», то у Михаила Леоновича получается, что письмена – тоже часть погоста: «Что такое слово? Мертвый знак живых явлений». И это мы каким-то образом должны оживить слово, воскресить и сделать источником понимания.

И все же Михаил Леонович при такой трагичности основ мировосприятия... – посмотрите снова на фотографии – насколько чаще он улыбается, чем хмурится, насколько он легок на большинстве этих фотографий, и вспомните, как он бывал светел, как никогда не давал нам почувствовать при общении этой трагичности. Но только почувствовав этот трагизм, мы поймем подлинную цену тому свету и радости, что он дарил нам и в общении, и в своем творчестве. Тем больше чести и славы – возвращаюсь к дню рождения, – что человек сумел так преодолеть свой внутренний трагизм и столько создать, преодолеть то, чем большинство других людей, наверное, просто было бы раздавлено. Спасибо Вам, Михаил Леонович...



Милая Лена,

сколько раз уже я – торопясь, опаздывая, «путая важное с пустяками» – сдавал Вам работы в разные сборники. Вот и теперь не нахожу другого способа Вас поздравить, как принести чтонибудь подобное, хотя мне и говорили, что это – не вполне в жанре нынешнего поздравления. Отчасти чувствую себя кошкой, которая приносит на белую скатерть пойманную мышь или воробья.

Но следующая далее запись все-таки обязана своим существованием Вам, Вы в июле 2008 года заочно свели нас, по телефону, с Сашей Морозовым, с которым я уже довольно много лет не имел случая поговорить, с тех времен, когда наши — всех троих — пути иногда пересекались. Я хотел расспросить его об обстоятельствах первого издания «Разговора о Данте» для расширенного варианта комментария к этой книге Мандельштама¹. Я не думал, конечно, что этот наш

разговор с Сашей станет последним, но что он может быть одним из последних – уже мог подозревать. Поэтому я решился его записать на диктофон (каюсь: без спроса) – просто держа диктофон у телефонной трубки, поэтому не все записалось с одинаковой четкостью. Расшифровку этого разговора я и предлагаю далее².

Начало разговора вообще разобрать нельзя, и это, видимо, правильно, поскольку эта часть не имеет отношения к делу: я в самом начале разговора упомянул общего знакомого (как оказалось – бывшего знакомого), чем вызвал Сашино возмущение и отповедь. По удачному совпадению (если не приписывать этому большего значения), запись хорошо слышна, начиная как раз с того момента, когда мой собеседник сменил гнев на милость и спросил, что именно я хочу у него узнать. Мой первый вопрос о юбилее Данте связан с занятиями мой жены Л.Г. Степановой, с которой мы вместе писали комментарий к «Разговору о Данте» – она занималась также историей дантовских юбилеев в России.

Я устранил без оговорок некоторые (далеко не все) повторы слов, междометия, паузы (многоточия в транскрипции обозначают паузы, а не ку-

 $^{^1}$ Более краткий вариант: Л.Г. Степанова, Г.А. Левинтон. Разговор о Данте [Комментарий] // О. Э. Мандель-

штам. Полное собрание сочинений и писем в 3-х томах. Т. 2. М.: Прогресс-Плеяда (в печати). С. 530–629, 714–741.

 $^{^2}$ Благодарю С.В. Николаеву, взявшую на себя наиболее трудоемкую часть расшифровки.

пюры). Свои реплики, однообразные и неинформативные, вроде «понятно», «да-да» «Ага» (точнее было бы «Угу») я все-таки не стал убирать, чтобы сохранить ритм разговора.

Телефонный разговор с А.А. Морозовым 19 июля 2008 г.

[пропущено 02:59 минут неразборчивой записи] АМ: А все-таки... все-таки что ... Что вы хотели... от меня в этом случае.

 $\Gamma\Lambda$: Я хотел вас спросить – просто немножко поспрашивать про обстоятельства первого издания³, как это было, как это происходило?

АМ: Ну, пожалуй что, это я могу ... Только чуть погромче говорите.

ГЛ: Да-да. Меня интересовала просто фактическая сторона. Я знаю... то есть я видел опубликованную заявку Пинского...

АМ: Да.

ГЛ: А кто первый высказал идею, что можно воспользоваться Дантовским юбилеем?

АМ: Чем воспользоваться?

ГЛ: Дантовским юбилеем.

АМ: Ну, как, сама мысль издания пришла ко мне. Именно постольку, поскольку я работал в издательстве, где, ну так или иначе, были шансы это

издать. А юбилей как бы... не помню. Ну, наверное, не только и Пинским ... Ну, во всяком случае, во вторую очередь пришло это соображение. Ну, само по себе оно не могло подействовать, отдельно, в пользу издания, да? Ну, вы же эту обстановку всю помните, наверное, да?

ГЛ: Помню, да, конечно.

АМ: Застойную... конца застоя и прочее, прочее. Удалось издать эту книгу исключительно благодаря тем очень хорошим, замечательным даже, моим товарищам, со мною составлявшим эту редакцию. Ну, и без них, конечно, это бы не удалось. Ну, и конкретной силой здесь был я. Она сработала. Ну, в том, например, что я не то что не делал из этого секрета, а всех агитировал. Всех в издательстве, всех. Ну как – буквально всех – от директора до машинистки. Ну, что-то рассказывая про Мандельштама, взывая ко всему [нрзб.] Ну, так примерно.

Уже третья роль была, что надо было предисловие, конечно. Ну, это и правильно, и закономерно. Вот, и обратились сначала к Голенищеву-Кутузову. Ну, здесь ничего не хочу сказать, он тогда был уже очень болен. [нрзб.] Ну, в общем, он отказался. Почитав, наверное, в первый раз (конечно, мы ему доставили это), ну, и возмутившись тем... подходом к Данте....

ГЛ: Он это высказал или это Ваша догадка?

АМ: Высказал.

ГЛ: Ага.

 $^{^3}$ О. Мандельштам. Разговор о Данте. М., 1967 (далее РоД).

АМ: Высказал. Мы ездили к нему вместе с Сережей Неклюдовым. Ну, вот, и тогда Сережа Неклюдов, потому что я был... растерялся совсем... А Сережа Неклюдов тогда назвал имя Пинского, с которым был и знаком отчасти. Ну так, отчасти... Ну, вот.. И <Пинский> согласился. Ну, то есть со всей охотой, согласился... Леонид... Леонид... Как его звали?

 $\Gamma\Lambda$: Отчества не помню⁴.

АМ: Я тоже что-то забыл.

ГЛ: Ну, нетрудно посмотреть. Да?

АМ: Так он это... написал сначала, да, текст, который очень подошел и сразу принят был, конечно, без всяких запятых там и исправлений, он, тем не менее, пытался доработать – не помню, поставил ли редакцию в известность, что он еще не кончил статью. Ну, наверное, как-то поставил, но я это как-то не принял, потому что я бы сказал, что уже по объему достаточно, чтобы писать именно специально о Мандельштаме. А он уже перешел от Данте, так сказать, и Мандельштама к самому Мандельштаму.

Ну, вот и... Ну а там какой-то корректив... Значит он представил новый как бы вариант. Ну, вот мне пришлось отказаться, и, наверное, я... ну, не мог ничего придумать, ну... кроме того... как, может быть, даже и вообще не поставив его в известность.

Ну, там, в общем, получилась такая неловкость, при которой Леонид... Леонид... ну... по телефону кричит: «Я, – говорит, – как каторжный работал!» Там... Ну, вот такая ситуация, которую, конечно, мне вспоминать ... ну, больно, даже

 $\Gamma\Lambda$: Понятно... Скажите, Саша, а значит из публикации в каком-то из сборников типа «Слово и судьба» или что-то такое... там опубликована заявка, подписанная Пинским 5 .

АМ: Какое «Слово и судьба»? Никакого «Слова и судьбы» не было. Когда это было?

ГЛ: Нет-нет, я говорю, что в одном из недавних, ну, недавних – девяностых годов сборников...

АМ: Да, Ну, это формальная необходимость была – заявка.

ГЛ: Ага. И значит, подписывал ее он, а не Вы?

⁴ Леонид Ефимович Пинский, 1906–1981.

⁵ Вокруг «Разговора о Данте» (из архива Л.Е. Пинского) Публикация Е.М. Лисенко, примечания П.М. Нерлера. // Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования и материалы. М.: Наука, 1991. С. 149–152. В примечании к публикации (П.М. Нерлера) указано: «Послесловие Пинского увидело свет в несколько сокращенном виде – исключительно из соображений архитектоники издания. Его полный текст был впервые опубликован в книге Л.Е. Пинского «Магистральный сюжет» (М., 1989. С. 367–396). Эта формулировка восходит, видимо, к рассказу А.А. Морозова, аналогичному приводимому здесь.

АМ: Он, конечно. Да. Ну, это само собой разумелось как-то, что заявка необходима.

ГЛ: Нет, это понятно.

АМ: Ну, да, что она заявка как бы и на «Разговор о Данте», да? Не только на статью, но и на «Разговор о Данте».

ГЛ: Ну, да.

АМ: Ну, да... Ну, в то вре[мя]... редактор же не мог, я же не мог от себя, скажем, заявку... Заявка была необходима, конечно.

ГЛ: Понятно, понятно. ... Мой вопрос про юбилей связан как раз с тем, что его заявка начинается со слов, что юбилей Данте не был отмечен.

АМ: А, да. Ну, это привязка как бы. Это, помоему, мало принципиально. Ну, по-моему, он даже говорит там об английском издании, да? на английском языке, которое уже было. Да?

ГЛ: По-моему, нет...

АМ: Было, было. Было к этому времени.

ГЛ: Браун что ли сделал?

АМ: Нет, нет. Нет. Ну, было... ну, по списку, конечно, и неудовлетворительное, но было.

ГЛ: Я знаю перевод Джейн Харрис, но он вышел в семидесятом году.

АМ: В семидесятом... Нет, ну, а разве в статье этого нет? По-моему, это в статье есть. Сейчас, если хотите, я ...

 $\Gamma\Lambda$: Нет, это я могу посмотреть, это как раз не...

АМ: По-моему, Пинский упоминает в статье, что уже было издание, что юбилей не был отмечен, но вот, только что, вот... По-моему, так.

ГЛ: Понятно.

AM: Ну, во всяком случае, в заявке точно это было.

ГЛ: Саша, а..?

АМ: В библиографии-то, наверное, это должно тоже быть⁶.

ГЛ: Ну, конечно,

АМ: По-моему, это было.

ГЛ: Это я проверю. Это-то с переводами, проверить нетрудно. Скажите, Саша, а в тот момент,

⁶ Л.Е. Пинский упоминает этот перевод в Заявке: «В мае этого года «Разговор о Данте» был издан в американском ежеквартальном журнале» (с. 15), ср. в примечании П.М. Нерлера: «Первопубликация «Разговора о Данте» - в английском переводе К. Брауна и Р.П. Хьюза и с предисловием Г.П. Струве - состоялась в специальном выпуске американского журнала "Books Abroad", посвященном 700-летию Данте (1965. Мау. Р. 25-48). (с. 151, примеч. 3) – точнее говоря: Mandelstam O. Talking About Dante / Transl. by Clarence F. Brown and Robert P. Hughes // Books Abroad, Special Issue: A Homage to Dante, 1265-1965. 1965. P. 25-47 (описание по Библиографии в: О. Мандельштам. Собр. соч. в 3 т. New York, 1969. Т. 36. Р. 450). В предисловии этот перевод тоже упомянут: «"Разговор о Данте" (1933) публикуется на русском языке впервые (английский перевод появился в юбилейном для Данте 1965 году)» (Л.Е. Пинский. Послесловие // РоД. С. 59).

в середине шестидесятых годов, как распределялись, где находились рукописи? То есть Вы работали со списком Рудакова?

AM: A?

ГЛ: Вы работали с каким списком?

АМ: Нет, я работал со списком – об этом говорится – списком, принятым за основной, тем, который нашелся у Харджиева⁷.

ГЛ: А, я его видел в Голландии.

АМ: Где?

ГЛ: В Голландии, я был в архиве Харджиева.

АМ: Ну, слава Богу, значит, цел, по крайней мере

ГЛ: Да-да.

АМ: Вот, а черновики и все остальное у Надежды Яковлевны, которой Харджиев к этому времени уже передал. Более того, еще не было ссоры их. Ссора как раз случилась – если Вам интересно, я бы мог рассказать – как раз в связи с выходом «Разговора о Данте».

ГЛ: Ага.

АМ: Это [нрзб.] Но я посещал оба дома. Харджиев мне ... без всяких, как бы дал на пользование, дал в руки: «Работайте». Это вообще расходится с его как бы отношением к другим людям и с его ревн<остью>... известной... ну, ревностью к тому, кто знает и что есть, что есть у него, что это могло быть только через его руки. Вот в этом случае Харджиев проявил, ну, можно сказать, полное благородство.

ГЛ: Ага.

АМ: Ну, правда, могу добавить - ну, это для психологии, ну, вот ... таких людей, как Харджиев. Ну, и вообще людей... не таких, как Харджиев. Людей, исключение в которых, вот, подчеркивает, в их поведении, значит, подчеркивает, на самом деле, их правила, их высокий... высокий человеческий уровень. Так вот, он дал мне рукопись. Я показал ее Надежде Яковлевне, потому что у Надежды Яковлевны было отношение, что «нет и не может быть», что «никакой рукописи я ему не давала», Харджиеву. Ну, и вообще, что это одна из... один из каких-то поздних списков, в которых она, может быть, была. Но там уже эта рукопись [нрзб.] ведь и почерк и прочее Надежде Яковлевне пришлось признать что да. Но каким... то, что она ему не давала, - это она держалась до конца. Хотя...

ГЛ: А происхождение списка она как-то идентифицировала?

⁷ «Авторская рукопись "Разговора о Данте" не сохранилась. За основу издания принят авторизованный машинописный текст последней редакции, датируемый 1933 г. Этот текст был получен Н.И. Харджиевым от О.Э. Мандельштама в 1937 г. В ИРЛИ (Пушкинском Доме) находится первоначальная редакция "Разговора о Данте" (ф. 630, ед. хр. 125; список рукой Н.Я. Мандельштам). Частично (у вдовы поэта Н.Я. Мандельштам) сохранились подготовительные записи и черновики» (РоД, с. 71, комментарий А.А. Морозова).

АМ: Николай Иванович на этом скромно настаивал – что рукопись была подарена ему лично. Ну, думаю, это было в тридцать седьмом году, и так как, вот, была отдана основная часть рукописей, вообще, Рудакову, то вполне мог Мандельштам сам отдать. То есть готовились – Мандельштам, по крайней мере – к концу. Ну, я к чему... ну, вот, хочу – я сбиваюсь...

ГЛ: Нет, я понимаю.

АМ: ... чтобы Вы как человек понимающий, нечто оценили. Нечто, Ну, вот, дать Вам хороший материал для суждения о людях.

ГЛ: Понимаю. Я...

АМ: Через несколько дней, а я вступил как бы в работу, он мне звонит на работу и говорит: «Знаете, Александр Анатольевич, я все-таки подумал, что... Ну, что я должен издать рукопись...» Ну, оцените что-то и во мне, который сказал: «Конечно, Николай Иванович, что вы волнуетесь, конечно».

Но в тот же день, или на следующий день, я не помню, он, значит, опять мне звонит. Сказал, что – «знаете, я передумал, что вы, действительно, включились, во-первых, в работу, и как-то [нрзб.] что когда «Разговор о Данте» вышел, я спросил у Николая Ивановича, нравится ли ему издание. Ну, не ему, а так сказал: «Ну, а понравилось это издание?» Ну, имея в виду не только ему... Он сказал: «Понравилось».

ГЛ: Ага.

АМ: Ну, к тому, что здесь могли быть основания и что ... ну что я могу и не справиться $\Gamma\Lambda$: Понятно

АМ: Ну, а Николай Иванович больше того, ... ну, даже подумать [нрзб.] что он лучше справиться.

ГЛ: Ну, это было бы для него естественно.

АМ: Ну, я думаю, и для других... тогда...

ГЛ: Да, понятно.

АМ: Ну, некие человеческие его черточки – в этом, да? ну, вот, я надеюсь и даже думаю, что вы оцените.

ГЛ: Да, конечно. Конечно.

АМ: Ну, вот видите – не все такие как вы, как NN и как.... Это я в шутку говорю. Про вас я, конечно, [нрзб.]

ГЛ: Спасибо, Саша, это очень ценно. Скажите, значит, то есть Надежда Яковлевна об этом списке никак... ну, кроме недоумения и, значит, каких-то ... вот... она не идентифицировала его как... так сказать, ну, время его появления?

АМ: Передачи, да?

ГЛ: Нет, не передачи, а именно его возникновения самого. То есть когда он был.., когда он был списан, так сказать?

АМ: Нет, нет. Ну, ну, хотя убедиться, что это авторизованный список... Ну, она его... как бы молча признала его...

 $\Gamma\Lambda$: Hy, понятно.

AM: ...его оригинальность и так далее. Нет, ну, кроме того, сам список, тем не менее, был недо-

статочен. То есть в нем, тем не менее, ... ну, просто потому, что это машинопись ... Хотя... Хотя трудно сказать, проверена ли – наверное нет – Мандельштамом, ну, в которую вставлены его поправки, его рукой. Но так или иначе, всего лишь машинопись и, стало быть, с соответственными ошибками. Ну, вот... которые пришлось..., ну, в первую очередь сверять с теми черновиками, с теми, которые сохранились у Надежды Яковлевны, которые, не все конечно, имела в руках. Кроме того, сама Надежда Яковлевна, которая вот здесь, конечно, в моих сомнениях, ну, просто могла что-то вспомнить, по мелочам именно.

ГЛ: Понятно.

АМ: Ну, вот, например, там было не «реактивная ракета», а «радиоактивная».

ГЛ: Опечатка в тексте?

АМ: Да. Ну, и так во всех списках шло. Ну, вот, и...

 $\Gamma\Lambda$: Нет, это могла быть описка, так сказать, в оригинале. То есть в диктовке.

АМ: Нет, нет. Ну, что Вы... «Радиоактивный» и «реактивный» – какая же тут может быть ошибка? Описка. Нет, ошибка переписчика. А может быть, самой Надежды Яковлевны. Вот скорее всего, потому что уж очень она схватилась за голову, сказав: «Ну, конечно!»

ГЛ: Понятно.

АМ: Ну, и так в ряде... а даже во многих случаях. Я не скидываю [нрзб.] ну, необходимость

и... моей работы. И проделана она была – *до за- пятых*. До... то есть буквально – запятая не проходила мимо Надежды Яковлевны тогда

ГЛ: Понятно.

АМ: А одна тонкая вещь там, надо сказать. Ну, вот в тексте я не мог прочесть, однако [нрзб.]: «поэтическая мысль или мысль». И я от себя, проявил такое творчество – поставил в запятых. «Поэтическая мысль – дальше в запятых – или мысль»⁸. Надежде Яковлевне *очень* понравилось!

Или, допустим, что... ну, самый конец «Разговора о Данте»... Это я не хвастаюсь – поймите. Ну, вспоминаю...

ГЛ: Да, конечно.

АМ: ... ну, о той настоящей работе, которая была и мной проведена, но и без Надежды Яковлевны, и без Харджиева, ну, так бы не получилось.

ГЛ: Понятно.

АМ: Ну вот, и, значит... Ну, там... «поэтическая речь не имеет голоса» – кажется, последний абзац с этого, да, начинается? Ну, в общем... многим... ну, например, хранителям той рукописи, первоначальной, которая была в ИРЛИ, да? Рукописи Надежды Яковлевны, списка Надежды Яковлевны...

⁸ Имеется в виду, видимо, начало 3-го абзаца первой главы РоД: «Поэтическая речь, или мысль, лишь чрезвычайно условно может быть названа звучащей» – эти запятые повторяются в последующих изданиях, кроме: *О. Мандельштам.* Собр. соч. в 3 т. New York, 1971. Т. 2. С. 363.

первая... ну... это же отмечено, да, что в ИРЛИ хранится эта первоначальная <редакция>⁹? Ну, вот, там в архиве было принято, что это неокончательная, что это не окончено, что это, во-первых, почерк Мандельштама, и что это не окончено. Ну, и вот такое было. Мне... и мне показалось, что так, что оно могло быть таким [нрзб.], если что-то не сделать. И я поставил перед последним абзацем многоточие¹⁰, такую коду, да?

ГЛ: Ага.

АМ: ...вот. Ну, опять я только говорю, просто разволновавшись от этой своей памяти встречи и работы с такими замечательными людьми, как Надежда Яковлевна и Харджиев.

ГЛ: Понятно, да понятно.

АМ: Могу сказать, что этими людьми я ранен навсегда. И когда они умерли... они и, пожалуй, последней Эмма Григорьевна, вот я для себя решил, что это последние люди.

ГЛ: Понятно.

АМ: Ну, и... и... если Вам не надоело, хотя и не вижу сейчас никакой пользы, но вот я могу рассказать еще, каким образом произошла эта роковая ссора – разрыв между Надеждой Яковлевной и...

ГЛ: Конечно, да-да-да.

АМ: Рассказать?

ГЛ: Конечно.

АМ: Да?

Ну, это вот произошло таким образом, что я сижу на работе, ни о чем с Надеждой Яковлевной не договорившись, и выйдя покурить, я вижу, что она, значит, что она пришла. Я подошел к ней. Ну, и тут выяснилось, что она пришла получать гонорар за «Разговор о Данте». Вот. Но тут же она расплакалась. Я потом той же Эмме Г<ригорьевне>, впрочем, в качестве своего аргумента, говорил: «Кто-нибудь видел Надежду Яковлевну плачущей?» А вот я видел даже не плачущей, а рыдающей. Ну, что она едет к Харджиеву. Забирать архив.

ГЛ: Ага.

АМ: После, значит, [нрзб.] И кажется еще, что она заедет к Симонову, чтобы отдать ему вот эти деньги, которые Симонов дал ей на кооператив, а потом, значит, вот, поедет к Харджиеву. И тут она разрыдалась. Ну, вот, ну меня хватило... хотя хвалиться не приходится, но все-таки... меня хватило на то, чтобы, не спрашивая, сказать, что «я еду с Вами, Надежда Яковлевна, я еду с Вами». Вот. Значит. Спустившись... ну, вот, стояла машина во дворе. И там, значит, двое людей: Сиротинская и некий неизвестный мужик.

ГЛ: А кто первый, простите?

AM: A?

⁹ См. выше сноску 5.

¹⁰ Начало третьего от конца абзаца (РоД, с. 57), здесь предыдущий абзац заканчивается многоточием, а перед этим абзацем – пробел (то же в последующих изданиях, включая изд. Струве и Филиппова).

ГЛ: Я не расслышал первое имя.

АМ: Сиротинская.

ГЛ: Ага.

АМ: Вот... Которую я знал – она при... была, бывала у Надежды Яковлевны, ну, выпрашивая какие-нибудь для архива бумаги. Две-три Надежда Яковлевна дала. Вот. Планы были у Сиротинской другие. Они выяснились, когда я [нрзб.] в машине, ну и мужик - сам впереди с шофером, а другие сзади. Ну, я выясняю, в чем план состоит. План состоит в том, что у Надежды Яковлевны доверенность на..., не доверенность, а завещание на архив ЦГАЛИ, которое она передает этой вот Сиротинской, как только Харджиев отказывается отдать, да. Подождите. Когда Харджиев отказывается отдать, то вступает в силу вот этот мужик, у которого полномочия, значит, ломать шкафы, там, и тогда это... для выемок. И не знаю я, от архива ли есть такая служба. Вполне возможно.

ГЛ: Ну... Я не слыхал такого.

АМ: В случае хранения у кого-нибудь незаконным образом архивов, да, или это как-то какимто боком через Симонова... вот такого человека нашел. Ну, это какие-то... по мельканию этой фамилии, вот, у меня тоже создалось такое впечатление. Ну, не знаю, короче. Вот. И после этого уже, так как это все уже от архива делается, значит, отдается завещание архиву и все отдается тут же Сиротинской.

ГЛ: Ага.

АМ: Представляете?

ГЛ: Да.

АМ: Ну, вот. Вот мы так едем. И, честно, я не помню даже, заезжаем ли мы к Симонову. Я не помню этого. Похоже, что сразу едем к Харджиеву. Значит... к подъезду, выходим. Тут меня хватает - тоже оцените - сказать, что мы с Надеждой Яковлевной пройдем, а вы подождите здесь, у подъезда. Подождите нас у подъезда. Вот. Вот мы поднимаемся с Надеждой Яковлевной... Хватило меня еще на то, чтобы, позвонив, войти первым, а Надежда Яковлевна за мной, как Эвридика. Вот. Ну, увидев и сразу поняв, в чем дело, конечно, Николай Иванович, растерявшись, засуетился очень: «Да-да, конечно, сейчас, подождите... Подождите, сейчас...» Ушел в комнату. Долго очень там копался, перевязывал чего-то. Потом вынес значит, пять по-моему папок. «Вот, значит, имейте в виду, Надежда Яковлевна, теперь я к Мандельштаму не прикоснусь пальцем». «Хорошо, хорошо» - белыми губами сказала Надежда Яковлевна. Так вот мы и ушли. Здесь удивителен, впрочем, еще ... ну, тоже Вам что-то скажет об этих людях, что такого свидетеля, как я, Николай Иванович простил. Меня как свидетеля. Вряд ли кто-нибудь еще бы, кто-нибудь еще стал бы какнибудь продолжать отношения с человеком, вот, бывшим по воле ли судьбы или чего-нибудь свидетелем такой ситуации. Мне так кажется.

ГЛ: Понятно.

АМ: Нет, все продолжалось. То есть я хожу и к Харджиеву, и к Надежде Яковлевне. Пока не было... Надежда Яковлевна не получила сведений <?>, что он не все отдал. Хотя и после этого к Надежде Яковлевне я продолжаю ходить. Ну, вероятно, может быть, и выражая сомнения в этом, но не категорически. А категорически вот что случилось. Вообще-то говоря, наверное, сейчас не рассказываю, а пишу какой-то рассказ, если не повесть о людях. А получилось так, что кто-то у Надежды Яковлевны рассказывал какую-то восточную притчу, содержание которой такого рода. Значит, отец и сын, и сын гуляет. Заводит не тех друзей, там, мотает деньги и прочее. И отец ему говорит: «Это разве друзья? Вот когда ты убьешь какого-то человека, и найдется человек, который спрячет труп, вот это и есть друг». Представляете? И я выразил, как не помню, ну, в общем, что это произвело на меня впечатление, такой рассказ, понравилась эта притча. А Надежда Яковлевна говорит: «О Николаше думаете, значит?» И все. Больше я к ней не ходил.

Ну, один раз через сколько-то там лет я приехал к ней на машине. Я уже на машине работал. Шестьдесят... значит... в каком году это было? Ну, в общем, значительно позже. Один только раз. Ну [нрзб.] ваши вопросы?

ГЛ: Да... Да.

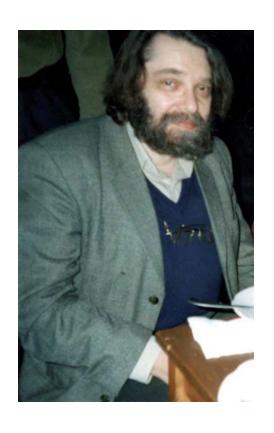
АМ: Ну, так что, Гаррик, если что-нибудь Вы лично вот от меня захотите услышать или чего-

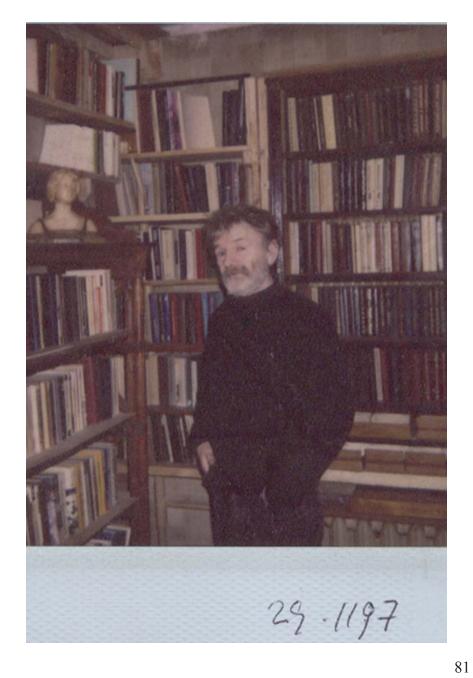
нибудь... но без упоминаний о каких-либо изданиях там, в которых, как вы выразились, руководит ММ или кто-нибудь... избавьте.

ГЛ: Хорошо. Простите, Саша, и спасибо большое. АМ: Да.

(весь разговор – 35:15 минут)







ЕЛЕНА, СИЛЬНАЯ ДУХОМ

Посвящение

Лену я впервые увидела в знаменательный день — 2 апреля 1992 года. Все события этого дня хорошо запомнились, но особенно врезалось в память то, как Лена впервые произнесла название нашего вновь образованного института — ИВГИ, и потом повторила его, как будто пробуя на слух. С того времени едва ли прошел хоть один день, когда бы я не видела Лену, не слышала ее голоса по телефону, не читала ее писем. Все эти годы она была рядом, отдавая себя нашему институту, каждому из нас, не щадя себя, превозмогая усталость, готовая разделить наши трудности, беды, болезни.

Для всех нас, тех, кому выпала честь работать с Леной, занятия любимым делом составляют смысл жизни. Благодаря Лене и при ее внимательном, всегда заинтересованном участии были опубликованы все мои книги. Она вдохновила, организовала, провела

бесчисленное множество заседаний, конференций, семинаров, на которых прозвучали и мои доклады. Без ее предложений мне едва ли пришло бы в голову с ними выступить. Те лекции, которые я прочитала, семинары, которые провела, – всё это было вдохновлено Леной.

Имя Елена давно стало дорого для всех нас. С ним связаны бесчисленные легенды, из которых любая могла бы стать объектом реконструкции. Прежде всего, это имя ассоциируется с прославленной святой, римской правительницей первых веков христианства, о которой повествует одна из наиболее пространных англосаксонских поэм. Рассказ об этой поэме и ее героине посвящается нашей любимой Елене.

Поэма «Елена» принадлежит к числу немногих англосаксонских произведений, авторство которого не подвергается сомнению: в эпилог включен фрагмент (1256–1269), в который рунами вплетено имя его создателя – Кюневульф. Кюневульфу (VIII–IX вв.) приписывается авторство еще трех поэм, в которых упоминается его имя: «Судьбы апостолов», «Христос», «Юлиана». Поэма о Елене записана на уэссекском диалекте с небольшим вкраплением англских форм в Верчелльском кодексе (Vercelli, MS CXVII, fol. 121а–133b, X в.), который хранится в библиотеке собора в Верчелли (сев. Италия). В качестве источников и

параллелей древнеанглийской поэмы предлагались латинские тексты (Inventio Sanctae Crucis, Acta Sanctorum, Acta Cyriaci – Codex Paris. 2769)¹, греческие (Codex Graecus Monacensis 271), кельтские (Leabhar Breac), скандинавские (Heilagra manna sögur), англосаксонские (прозаическая проповедь Þære Halgan Rode Gemetnes – MS. Auct. F. 4. 32, Bodl.)².

В поэме «Елена» затрагиваются важнейшие для средневековой культуры темы: победа над язычеством, обращение в христианство, духовное возрождение. Главная героиня поэмы – Елена, мать первого христианского императора Кон-

стантина и его посланница. Древнеанглийские прозаические источники по-разному определяют социальный статус исторической Елены³, однако

¹ Принято считать (см., например: *Holthausen F.* Cynewulfs Elene. 4te Aufg. Heidelberg, 1936. S. xii), что к источникам поэмы Кюневульфа наиболее близки следующие латинские тексты: 1. Acta Quiriaci / Acta Sanctorum, Maius // Godefridus Henschenius, Daniel Papebrochius. Tom. I. Antwerp, 1680. P. 445–448. 2. Inventio Sanctae Crucis / Hrsg. A. Holder. Leipzig, 1889. S. 1–13. 3. Sanctuarium seu Vitae Sanctorum / Ed. B. Mombritius. Paris, 1910. Vol. I. P. 376–379.

²Предполагалось, что Кюневульф основывался не на едином источнике, но использовал различные тексты, сочиняя свою поэму (*Gardner J.* Cynewulf's Elene: Sources and Structure / Neophilologus. N. 54. 1970. P. 65). Подробное исследование источников и параллелей к поэме «Елена» см. также: *Gradon P.O.E.* Cynewulf's «Elene». London, 1958. P. 15–18; Sources and Analogues of Old English Poetry / Transl. M.J.B. Allen, D.G. Calder. Cambridge, 1976. P. 59–69.

³ Альдхельм называет императора Константина «сыном Констанция, рожденным в Британии от наложницы Елены» – Constantii filius in Britannia ex pelice Helena genitus (Aldhelmi Malmesbiriensis prosa de virginitate cum glosa Latina atque anglosaxonica / Ed. Sc. Gwara. 2 vols. Corpus Christianorum Series Latina. Turnhout: Brepols, 2001. P. 655.). Беда Достопочтенный пишет в «Церковной истории англов», что он (Констанций Хлор) «оставил своего сына Константина от наложницы Елены, сделавшегося императором Галлии» – hic Constantinum filium ex concubine Helena creatum imperatorem Galliarum reliquit (Bede's Ecclesiastical History of the English People / Ed. B.Colgrave, R.A.B. Mynors. Oxford: Clarendon Press, 1969. P. 36). В древнеанглийском переводе «Мировой истории» Орозия рассказывается, что «в те дни Констанций, славнейший человек, приехал в Британию и умер там, и оставил царство своему сыну Константину, которого он имел от наложницы Елены» - on bæm dagum Constantius, se mildesta mon, for on Brettannie ond bær gefor, ond sealed his suna bæt rice Contantinuse, bone he hæfde be Elena his ciefese (The Old English Orosius / Ed. J. Bately. Early English Text Society. Supplementary Series 6. London: Oxford University Press, 1980. P. 148). Напротив, в древнеанглийском переводе «Церковной истории англов» Елена называется женой (wif) Констанция, а Константин «хорошим, добрым императором» (god casere), который родился в Британии - Constantinus se casere wære on Breotone accened (The Old

создатель поэмы подчеркивает знатность и высокое происхождение своей героини, называя ее «благородной правительницей» (æðele cwen 275b)⁴, «королевой-воительницей», «доблестной правительницей» (guðcwen 254a, 331a), а затем и «королевой-победительницей», «победоносной правительницей» (sigecwen 260a, 997a)⁵. Елена наделена огромной властью и великой ответственностью. Она становится предводительницей отважной «рати мужей» (gumena þreate 254b) и отправ-

English Version of Bede's Ecclesiastical History of the English People / Ed. and transl. Th. Miller. Early English Text Society. Original Series 95–96. P. 42).

⁴Здесь и далее тексты древнеанглийские поэтических памятников цит. по: The Anglo-Saxon Poetic Records: a Collective Edition. / Ed. G.Ph. Krapp, E. van K. Dobbie. New York; London, 1936–1954. Vol. I–VI; текст поэмы «Елена» см.: The Anglo-Saxon Poetic Records. The Vercelli Book / Ed. G.Ph. Krapp. London; New York. 1932. P. 66–102.

⁵ Первый компонент в древнеанглийских сложных словах guðcwen (254a, 331a), sigecwen (260a, 997a), реоdcwen (1155b) представляет собой субстантивный эпитет и употребляется в усилительной функции в значении «эминентности»: воинственная, доблестная, победоносная, славная, великая, выдающаяся, великолепная, знаменитая. См. подробнее: Стеблин-Каменский М.И. Субстантивный эпитет в древнеанглийского поэтического стиля) / Стеблин-Каменский М.И. Историческая поэтика. Л., 1978. С. 4–39.

ляется в Иерусалим на поиски Креста Господня (wif on willsið 223a – «женщина в желанное, добровольное путешествие»).

В древнеанглийской поэме Елена всегда окружена сподвижниками, которые разделяют стремления своей госпожи и помогают ей исполнить высокое предназначение⁶: « Копьеносцы, / дружинники вокруг победоносной правительницы (sige-cwen) / были готовы к походу. Отважные воины, <...> мужи в кольчугах; / там можно было увидеть / драгоценные камни на воинах, / подарок вождя» 263b-265). Воинство Елены, которое никогда не вступает в бой, однако всегда готово и к действительной, и к духовной брани, неизменно описывается в поэме в героизирующих выражениях. Елена едет в Иерусалим с «избранной дружиной, щитоносцами, / ратью героев (heape gecoste, / lindwigendra <...> secga breate 269b-271a)», «с великой ратью, / знаменитыми воинами» (corðra mæsta, / eorlas æscrofe 274b-275a).

⁶ Как замечали исследователи (Klein St. Ruling Women. Queenship and Gender in Anglo-Saxon Literature. Notre Dame, Indiana. 2006. Р. 75), в латинских источниках Елена изображается совершенно одинокой: хотя она входит в Иерусалим с могущественным войском, это войско нигде не упоминается; она не выражает желания возвратиться к своему сыну на родину (в отличие от Елены, описанной Кюневульфом, которая, исполнив свою миссию, готовится к возвращению на родину в свою «вотчину» – eðel 1219a).

Поэт говорит, что «не слышал никогда ни прежде, ни потом, / о женщине, стоящей во главе / более прекрасного войска / в потоке волн / на морском пути» (240b–242). Великолепие облачений, сияние оружия, сверкание шлемов и мечей («изукрашенные кольчуги, / шлемы многие, / прекрасные изображения вепрей» 258–259а) делают воинов достойными доблестной королевы-воительницы.

Елена описывается в поэме как наилучшим образом предназначенная для исполнения возложенной на нее миссии и щедро наделяется идеализирующими эпитетами: «благословенная» (eadhreðige - букв. «торжествующая счастьем»), «отважная мыслью» (briste on gebance), «сильная (букв. рьяная) духом» (georn on mode): «была тогда благословенная / Елена полна думой, / отважная мыслью, / о желании вождя, / сильная духом, / найти землю иудеев, / (пройти) через все поля боя» (266а-271а). Эти эпитеты оказываются высоко функциональными в контексте поэмы - в Иерусалиме Елене приходится показать и решительность, и отвагу, и силу духа. Прибыв на Святую Землю, она немедленно созывает совет мудрейших мужей и требует, чтобы они прислали к ней самых мудрых, самых добродетельных, лучших из лучших. Когда лучшие мудрецы являются к ней, Елена «из рода Цезаря» (Caseres mæg 330b), оказывается мудрее их всех. Со своего «королевского престола» (cynestole 330a), на котором «прекрасная королева-воительница, украшенная золотом» (geatolic guðcwen / golde gehyrsted 331), восседает «во славе» (on þrymme 329b), она наставляет их, повелевая: Gehyra higegleawe halige rune, / wird ond wisdom (333a–334a) – «Слушайте, ясные умом, святую тайну, слова и мудрость».

В ситуации вражды, конфликта, когда мужи совершают деяния, женщины произносят речи. В поэме не раз упоминается о том, как Елена обращается с речами к разным группам людей (ср. формулы с глаголами maðelode - «сказала», wið bingode - «обратилась к» 77b, wordum genegan -«со словами обратилась» 287b, 385a, 559b). Елена произносит речь своим воинам: Elene madelode and for eorlum spræc 332, 404 - «Елена заговорила и обратилась к воинам»; она обращается с разгневанной речью к мудрецам в Иерусалиме: Elene maðelode and him yrre oncwæð 573 – «Елена заговорила и сказала им в гневе». Чаще всего ее слова обращены к Иуде: Elene maðelode him on andsware 642 - «Елена сказала ему в ответ», Him seo æðele cwen ageaf andsware, 662 - «ему знатная правительница ответ дала», Him þa seo eadige andswyrde ageaf, 619 - «ему тогда благая дала ответ».

Однако Елена не только ведет переговоры, подобно женщинам, но и действует, как подобает мужам. Она употребляет власть, когда переговоры заходят в тупик. Поняв, что мудрецы не хотят открыть ей тайну, она обращается к ним с угрозой как судия, властный карать и миловать: «Я скажу вам истинно, <...> если вы в этой лжи / будете и / дальше упорствовать, / в грязном обмане, / вы, которые передо мной стоите, / то вас на горе / огонь обнимет, / самый горячий костер, / и ваши тела пожрет / играющее пламя» (573–580а). Роль Елены, которую создатель поэмы называет «властной правительницей / отважной в городах» (sio rice cwen / bald in burgum 411a–412a), заставляет вспомнить еще об одной традиционногерманской женской роли – валькирии (valkyrie – букв. «избирательницы павших», т.е. тех, кому надлежит лишиться жизни, см. ниже).

Елена, не колеблясь, отправляет в темницу (in drygne seað – «в сухую яму» 693а) мудрого мужа Иуду, когда тот отказывается помочь ей в ее поисках, и не останавливается перед тем, чтобы пытать его голодом и жаждой. Она, как всегда, открыто («без утайки» – undearnunga 405a, 620) и предельно кратко формулирует стоящий перед ним выбор: þe synt tu gearu, // swa lif swa deað / swa þe leofre bið // to geceosane 605b-607a – «для тебя две вещи готовы, или жизнь, или смерть, что ты лучше захочешь выбрать». Елена оказывается в состоянии сломить сопротивление Иуды, который сначала признает ее главенство своим обращением hlafdige min – «моя госпожа» (656b),

а потом обещает помочь ей найти Крест: Іс þæt halige treo / lustum cyðe – «Я это Святое Древо с радостью открою» (701b–702a).

В описании обретения Креста вновь можно заметить характерную особенность в изображении Елены - она всегда окружена людьми (sio þær hæleðum scead 709b - «она управляла там воинами»). Добившись от Иуды согласия помочь ей, Елена призывает группу дружинников и приказывает освободить его. Множество людей отправляется вместе с Иудой на Голгофу. Иуда воздвигает обретенные Кресты перед толпой (mid weorode 843b). Огромная процессия сопровождает возвращение Креста: «гости издалека пришли, / знатные люди, в тот город. / Воздвигли на виду / эти три Древа Победы / отважные люди, гордые сердцем, / у коленей Елены - fore Elenan cneo» (844b-848а). Счастливые люди рассаживаются и поют: «сидела победоносная толпа, / песни возносила» – gesæton sigerofe, / sang ahofon (867). Множество людей сопровождает усопшего («тогда туда многие пришли / немало народу» – þa þær menigo cwom / folc unlytel, 870b-871a), который воскресает, благодаря Животворящему Кресту. Действия Елены, таким образом, не только получают полное оправдание, но и заслуживают восхищение создателя поэмы, который называет ее «счастливой славой правительницей» (tireadig cwen 605a) и «благородной правительницей» (æðele cwen 662a),

ведь она исполняет свою миссию – обретает Крест и становится «правительницей христиан» (Cristenra cwen 1068a) и духовной матерью новообращенного Иуды.

В латинских источниках Елена действует как представительница своего сына и признает авторитет Иуды, который после обращения получает сан епископа и нарекается Кириаком. В отличие от латинских источников в древнеанглийской поэме нет речи о том, что героиня подчиняется комулибо, включая императора Константина. Скорее наоборот, Елена отдает приказания (ср. многократное употребление глагола bebeodan 710b, 715b, 1130b - «приказывать») и заставляет мужей полностью подчиниться ее воле. Когда она требует бросить Иуду в яму, создатель поэмы замечает: «слуги не мешкали» (scealcas ne gældon 692b), а как только она велит освободить его, «они исполнили это немедленно, без промедления» (hie ðæt ofstlice efnedon sona 713). Она «смело говорит» (bald reordode 1072b) с Кириаком и велит ему «немедленно» (hrædlice) исполнить ее приказание. Создатель поэмы комментирует: hæfde Ciriacus / eall gefylled swa him seo æðele bebead, / wifes willan (1129b-1131a) - «Кириак все полностью / исполнил, как ему знатная приказала, / волю женщины». Все, с кем сталкивается Елена, безоговорочно повинуются ей, исполняя ее волю: «ее воля исполнилась» – bæs hire se willa gelamp 962b, «чудесно исполнилась / воля правительницы» – wuldres gefylled // cwene willa 1134b–1135a.

В древнеанглийской поэзии героини нередко изображаются более активными, чем в соответствующих латинских поэмах. Так, в латинской поэме «Вальтарий» Хильдегунда неизменно обращается к Вальтеру как к повелителю: «И на колени пред ним тогда Хильдегунда упала: / «Я за тобою пойду, куда бы меня ни повел ты; / Все, что прикажешь ты мне, господин мой, исполню усердно»» (247–249, перев. М.Грабарь-Пассек)⁷. Сердце Хильдегунды трепещет, когда ветер колышет листы дерев, и она просит Вальтера обратиться в бегство (351-353), «Тут, побледнев от испуга, она назад обернулась: «Гибель нас догнала, господин мой, беги! Они близко!»» (1212-1213, перев. М. Грабарь-Пассек). Напротив, в первом фрагменте англосаксонской поэмы «Вальдере», действие которой происходит в разгар боя перед решающей битвой, когда Вальдере уже лишился одного из своих мечей, Хильдегюд (лат. Хильдегунда), в соответствии с традиционной ролью эпической героини, вселяет в героя отвагу, призывая его не падать духом и не печалиться об утраченном мече. Хильдегюд не только не испытывает страха, но требует от Вальдере показать свою от-

⁷Здесь и далее перевод М. Грабарь-Пассек цит. по: Вальтарий Могучая Рука / Зарубежная литература Средних веков / Сост. Б.И. Пуришев. М., 1974. Т. І.

вагу, говоря ему, что «пришел день» его славы (пи is se dæg cumen, 8). Подобно Елене, формулирующей выбор для Иуды: «для тебя две вещи готовы, или жизнь, или смерть, что ты лучше захочешь выбрать», Хильдегюд велит герою «выбрать из двух единое» (9, перев. В.Г. Тихомирова)⁸ и тоже формулирует этот выбор: «...с этой жизнью простишься, / Эльфхере отпрыск, / или славу заслужишь / в людях долгую» (10–11, перев. В.Г. Тихомирова). Она ждет от Вальдере храбрости, дабы никто не смог упрекнуть его: «Да не услышишь... слов укоризны» (11–12, перев. В.Г. Тихомирова). Героиня, подобно Елене, изображается здесь как настоящая «щитовая дева», валькирия, не ведающая страха и вдохновляющая героя на подвиг.

Само имя Хильдегюд, в котором оба компонента имеют значение «война, битва» (hildr + древнеангл. guð, древнесланд. guðr, gunnr, древненемецк. Gund, ср. обозначение Елены как «королевы-воительницы» – guðcwen), не меньше, чем ее судьба, заставляет вспомнить о Хильд (hildr – «битва»; имя одной из валькирий), героине древнейшего германского сказания о битве хьяднингов. В «Младшей Эдде» рассказывается, как

Хильд, дочь конунга Хёгни, была уведена в плен конунгом Хедином. Хёгни догоняет беглецов, и Хильд предлагает ему ожерелье в знак мира, а сама говорит отцу, что Хедин готов к бою и Хёгни не будет от него пощады. Вернувшись к мужу, она сообщает ему, что Хёгни не желает мира, и просит Хедина готовиться к бою. Подстрекательство героини ведет к великой битве хьяднингов (воинов Хедина) на острове Высоком, которой суждено продлиться до самого конца света, так как каждую ночь воительница Хильд оживляет колдовством всех убитых.

Образы воительниц, подобных дочери конунга Хёгни Хильд, нередки в мифологии Скандинавии. Напомним историю богини Скади, о которой рассказывает Снорри в «Младшей Эдде». Когда умирает ее отец Тьяци, Скади берет шлем, кольчугу, оружие и отправляется в Асгард мстить за своего отца. Таким образом она исполняет долг родовой мести и становится владелицей наследной вотчины отца. Ее брак с Ньёрдом не удается, так как он настаивает на том, чтобы жить у моря, а Скади не желает покидать владения своего отца в горах (Трюмхейм).

Несмотря на неудачный брак, у Скади и Ньёрда рождается сын Фрейр. О его любви к Герд рассказывается в одной из песней «Старшей Эдды» – «Поездка Скирнира». Полюбившуюся Фрейру девушку не зря называли «типичной гордой и свое-

⁸ Здесь и далее переводы древнеанглийской поэзии (за исключением «Беовульфа») В.Г. Тихомирова цит. по: Древнеанглийская поэзия / Изд. подгот. О.А. Смирницкая, В.Г. Тихомиров. М., 1982. (Лит. памятники).

вольной дочерью исландского хёвдинга, не желающей подчиняться жениху»⁹. Она напоминает дев-воительниц и своей красотой (Фрейр говорит о ней: «Близ дома Гюмира / мне довелось / желанную видеть; / от рук ее свет / исходил, озаряя / свод неба и воды», б, перев. А.Корсуна), и своим поведением по отношению к жениху. Она категорически отвергает все предлагаемые ей сокровища: кольцо Драупнир и молодильные яблоки («Одиннадцать яблок / в обмен на любовь / никогда не возьму я, / Фрейр никогда / назваться не сможет / мужем моим», 20, перев. А.Корсуна¹⁰), а когда посланец Фрейра Скирнир грозит отрубить ей мечом голову, отвечает, что не стерпит угроз и все равно не ответит согласьем (24). Покориться ее вынуждает лишь заклятье, налагаемое Скирниром.

Предполагается, что «Поездка Скирнира» – культовая языческая песнь, исполняемая во время весеннего праздника соединения земли и солнца, а включенное в нее заклятье основано на за-

клинаниях, бытовавших в устной традиции в языческие времена. Вполне возможно, что изолированные женские образы: Герд, Скади, Хильд, встречающиеся в германском эпосе и основанных на нем памятниках, преемственно связаны с образами дев-правительниц (meykongar), щитовых дев (skjaldmeyjar) и валькирий (valkyrjar).

В «Старшей Эдде» валькириями называются героини Сигрун (в песнях о Хельги Убийце Хундинга) и Брюнхильд (в песнях цикла о Сигурде Фафниробойце). В сагах о древних временах, например в «Саге о Вёльсунгах», основанной на том же материале, Брюнхильд именуется уже не валькирией, а щитовой девой. Говоря о «Саге о Тидреке», тоже излагающей сказание о Сигурде, Брюнхильд называли «первой скандинавской девойправительницей (meykongr), <...> северной германской героиней, которая должна была отдаться Сигурду, прежде чем смогла разделить ложе с Гуннаром»¹¹. В «Песни о Нибелунгах» (ок. 1200 г.) Брюнхильд, напоминающая скандинавских деввоительниц, симптоматично называется правительницей (küneginne) Исландии. Она обладает необыкновенной мощью, несравненной красотой и огромной гордостью (übermuot, с. 26); всех женихов она заставляет помериться с ней силой и грозит смертью любому, кто проиграет в этих со-

⁹ «En typisk stolt och viljestark isländsk hövdingadotter, ovillig att leta sig domineras av friaren» – Lönnroth L. Skírnismál och den fornisländska äktenskapsnormen // Opuscula Septentrionalia: Festschrift til Ole Widding, 10.10.1977 / Bend Chr. Jacobsen et al. København, 1977. S. 162.

 $^{^{10}}$ Здесь и далее песни «Старшей Эдды» в перев. А. Корсуна цит. по: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975 (БВЛ).

¹¹ *Amory F.* Things Greek and the Riddarasögur // Speculum, 59. 1984. P. 517.

стязаниях (327.4). Нигде, кроме «Песни о Нибелунгах», образ девы-правительницы в средневековой немецкой литературе не встречается, если не считать отдаленной параллели в более позднем романе «Танрис и Флордибель» (сер. XIII в.), в котором героиня заставляет короля Артура обещать ей казнить всякого, кто захочет завоевать ее любовь, но потом прилагает немалые усилия, чтобы обойти это обещание.

В сагах об исландцах сильных духом правительниц напоминает Гудрун из «Саги о людях из Лососьей долины». Эта сага - единственная из родовых саг, где основное внимание уделяется не герою, но героине, как и в «Краткой Песни о Сигурде» и некоторых других эддических песнях. Гудрун - архетипическая героиня древних языческих времен, чьи необузданные страсти в любви и ненависти стоят жизни тем, кого они любит. Гудрун подстрекает своих братьев и мужа убить любимого ею Кьяртана, пригрозив Боли (своему мужу), что в случае его отказа их совместная жизнь закончится. Ее поведение заставляет вспомнить о Брюнхильд, которая, лишившись любимого, тоже заставила своего мужа убить его. «Тому я была хуже всех, кого любила больше всего» - признается она в старости сыну.

Образ сильной духом правительницы встречается и в королевских сагах. В «Саге об Олаве, сыне Трюггви» (гл. 43), включенной в «Круг Земной»,

рассказывается история Сигрид, матери конунга Олава Шведского и владелицы больших поместий в Швеции. Сигрид приглашает на пир конунга Вестфольда Харальда Гренландца, с которым когда-то воспитывалась, и оказывает ему дружеский прием. Конунга усердно угощают, а когда он ложится спать, Сигрид приходит к нему, наполняет его кубок и настойчиво склоняет его к тому, чтобы он выпил. Наутро пир возобновляется, Сигрид опять вступает с конунгом в беседу и говорит, «что не считает свои владения и свою власть в Швеции меньшими, чем его власть и владения в Норвегии. От этих речей конунг стал невесел и молчалив. Он собрался уезжать и был очень расстроен» (перев. М.И. Стеблин-Каменского)¹². Спустя год Харальд вновь приезжает в Швецию, встречается с Сигрид и спрашивает, пойдет ли она за него замуж. Сигрид отвечает ему отказом, тогда он является к ней в усадьбу, причем одновременно с другим конунгом из Гардарики (Русь) по имени Виссавальд (Всеволод), который тоже сватается к ней. Сигрид поит их хмельным напитком, а когда видит, что они и их дружинники мертвецки пьяны, приказывает расправиться с ними огнем и мечом. После того, как все либо сгорели, либо были убиты, Сигрид замечает, что «так

 $^{^{12}}$ Перев. М.И. Стеблин-Каменского «Саги об Олаве сыне Трюггви» цит. по: *Снорри Стурлусон*. «Круг Земной». Гл. 43.

она хочет отучить мелких конунгов от того, чтобы приезжать из других стран свататься к ней. С тех пор ее стали звать Сигрид Гордая» (перев. М.И. Стеблин-Каменского). Мотив пира, героиня, укладывающая жениха в постель и допьяна поящая его, унижение жениха, категорический отказ «невесты» от брака, наконец расправа с обоими женихами, после которой героиня приобретает свое характерное прозвище, — все это традиционно вплетается в сюжетную ткань саг о девах-правительницах (meykongar).

Прозвище Сигрид – Гордая (in stórráða) заставляет вспомнить об одном из самых ранних упоминаний о деве-правительнице в англосаксонской поэзии. В «Беовульфе» рассказывается о королеве Трюд, «на чье лицо / заглядеться не осмеливался / ни единый / из лучших воителей, / кроме конунга, / ибо каждый знал: / страшной каре / повинный подвергнется, / смертным узам, / и меч, не мешкая, / огласит над злосчастным / приговор Судьбы – / и без жалости / смертоносное лезвие / сокрушало жизнь»¹³ (1931b-1962, перев. В. Тихомирова). Трюд смирилась после того, как ее укротил Оффа, полюбивший и взявший ее в жены. Рядом с именем Трюд в рукописи стоит слово mod -«гордость», возможно, ее звали Модтрюд, т.е. Трюд Гордая, Надменная. Считается, что предание об Оффе и Трюд возникло еще до захвата Британии англами и саксами (V в.). Не исключено, следовательно, что Трюд (или Модтрюд) – одна из первых германских дев-воительниц, известных нам по имени.

Характерные прозвища дев-правительниц мотивированы тем немногим, что нам известно об их характере, описанном, в частности, Саксоном Грамматиком в «Деяниях датчан» (нач. XIII в.): «Некогда в Дании были женщины, которые одевались так, чтобы выглядеть, как мужчины, и каждую минуту посвящали упражнениям в воинских занятиях; они не хотели утратить силы своих доблестных мышц и предаться изнеживающей роскоши. Ненавидя изысканный образ жизни, они закаляли тело и ум трудом и выносливостью, а женский дух приучали к присущей мужам безжалостности. <...> Особенно стремились к такому образу жизни те, кто обладали сильным характером или высоким и крепким телом»¹⁴.

Это описание дается в «Деяниях датчан» в связи с рассказом об Альфхильд, которая надевает мужской наряд и начинает вести воинственный образ жизни, чтобы избежать ненавистного ей брака. Подобно другим девам-правительницам, Альфхильд все-таки выходит замуж. Ее дочь Гю-

 $^{^{13}}$ Перевод В.Г. Тихомирова цит. по: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975 (БВЛ). С. 121.

¹⁴ Saxonis Gesta Danorum / Primum a C.Knabe et Paul Herrmann recensita; Recognoverunt et ed. Jorgen Olrik , H. Ræder. I. Hauniæ, 1931. 7:6.

рид оказывается последним отпрыском королевского рода («все войны и тяжелые события так истощили датскую королевскую семью, что наконец мужи осознали, что она сократилась до одной женщины, Гюрид, дочери Альва и внучки Сигара»¹⁵). Когда Гюрид понимает, что «весь королевский род состоит только из нее одной, и нет ни одного мужчины равного ей, с которым она могла бы вступить в брак, она по своему желанию дает обет безбрачия, считая предпочтительным обойтись без мужа, чем выбрать кого-то из сброда»¹⁶. Как и ее мать Альфхильд, Гюрид оказывается способной стойко сражаться, когда, надев мужскую одежду, выходит на бой вместе со своим сыном.

Гюрид и Альфхильд – не единственные девыправительницы, о которых повествуется в «Деяниях датчан». Подобно им, Ладгерда, единственная дочь погибшего короля, надевает мужскую одежду и берет в руки оружие, чтобы защитить себя. Она становится «искусной женщиной-воином, у которой дух мужа живет в теле девы; с развевающимися по плечам кудрями она идет в бой впереди самых отважных воинов». Ее воинской доблести отдает должное Регнер (Рагнар Кожаные Штаны), для которого она в одиночку побеждает всех его противников. Посватавшись

к ней, Регнер сталкивается с ее непреодолимым отвращением к браку и получает отказ за отказом, пока в конце концов не добивается ее руки. Рождение сына Фридлейва, который становится ярлом Норвегии и Оркнейских островов, не спасает их от развода. Ладгерда «предпочитает одна править своей страной, чем делить власть с мужем»¹⁷.

Такой же гордой оказывается другая героиня Саксона Грамматика, королева скоттов Герминтруда. Она не желает вступать в брак, и ни одному ее жениху (до Амлета) не удается избежать смерти (книга IV). Тем не менее, ее образ не вполне соответствует тому, который складывается в исландских рыцарских сагах, ибо, встретив Амлета, она сама обращается к нему, предлагая себя в жены. Герминтруда говорит ему, что могла бы называться королем (rex), если бы не была женщиной, и добавляет, что тот, с кем она решит взойти на ложе, станет королем, ибо царский скипетр лежит в ее руке. Заметим, что уже здесь намечено различие между королем и королевой, возможно, до некоторой степени мотивирующее нежелание исландских дев-правительниц нарушать обет безбрачия.

Образы дев-правительниц, подобные королевам Герминтруде, Ладгерде, Гюрид и Альфхильд, нередки и в сагах о древних временах, основанных, подобно сочинению Саксона Грамматика, на

¹⁵ Ibid. 7:200.

¹⁶ Ibid. 7:202.

¹⁷ Ibid. 9:254.

героических легендах. Как и у Саксона Грамматика, в «Пряди о Хельги», составляющей часть «Саги о Хрольве Жердинке», судьба девы-правительницы включается в мифо-героический контекст и складывается трагически. В «Пряди о Хельги» герой отвергает Алов, когда она соглашается принять его в качестве мужа. Его отказ становится причиной трагического инцеста с собственной дочерью Ирсой, о чем ему впоследствии сообщает ее мать Алов. История этого инцеста известна по нескольким источникам: «Саге об Инглингах» Снорри Стурлусона (где рассказывается, как конунг Хельги похитил жену конунга Адильса Ирсу, но через три года, уже заимев от нее сына Хрольва Жердинку, узнал от ее матери Алов, что женат на собственной дочери), «Деяниях данов» Саксона Грамматика (где идет речь о мести Торы, ставшей жертвой насилия викинга Хельги, которая посылает свою дочь Ирсу соблазнить собственного отца) и латинскому изложению 1596 г. Арнгримом Йоунссоном не дошедшей до нас полностью «Саги о Скьёльдунгах» (XII в.).

Пересказ Арнгрима ближе всего к версии «Саги о Хрольве Жердинке», так как в нем появляется образ королевы Олавы, правящей вместе со своим мужем страной саксов, которая сначала поит вином домогающегося ее викинга Хельги, а затем, когда тот засыпает, заставляет своих людей обрить его, вымазать в дегте и отнести на ко-

рабль. Через год Хельги мстит ей за свое унижение. Он похищает ее, уводит в лес и не отпускает трое суток. У Олавы рождается от него дочь Ирса, которой впоследствии суждено стать женой собственного отца.

Эта история, пересказанная из «Саги о Скьёльдунгах», трансформируется в «Саге о Хрольве Жердинке», тоже, скорее всего, основанной на той же несохранившейся «Саге о Скьёльдунгах», в типичную сагу о деве-правительнице (meykongr). Во-первых, ее героиня уже не королева, которую в отсутствие мужа пытается соблазнить похотливый викинг, но дева-воительница, не желающая слышать о браке, будучи, однако лучшей невестой во всех северных странах. Во-вторых, герой отнюдь не хочет нанести урон ее чести, а напротив, прибывает в страну саксов, чтобы предложить ей вступить с ним в брак. Поведение героини тоже характерно для саг о девах-правительницах: она сначала отвергает его, затем как будто бы соглашается провести с ним ночь, поит его допьяна, укалывает сонным шипом, обривает его, мажет дегтем и приказывает засунуть в мешок и отнести на корабль. Он возвращается отомстить за себя, а для этого переодевается, приносит с собой сокровище и, пользуясь алчностью героини, заманивает ее в лес, после чего она признает себя побежденной и соглашается вступить с ним в брак. Помня о своем прошлом унижении, Хельги отвергает невесту. Месть Алов, обрекающей собственную дочь стать жертвой инцеста, так же ужасна, как месть другой героини германского эпоса Брюнхильд.

Пример «Саги о Хрольве Жердинке» косвенно указывает на происхождение саг о девахправительницах из героического эпоса, опосредованного сагами о древних временах. Это предположение подтверждается, во-первых, тем, что несохранившаяся «Сага о Скьёльдунгах», к которой восходит и прядь о Хельги из «Саги о Хрольве», предшествует распространению в Исландии саг о девах-правительницах, и во-вторых, примером других саг о древних временах. Вспомним, например, о «Саге о Хрольве, сыне Гаутрека», героиня которой Торбьёрг соединяет черты германской «щитовой девы» и девы-правительницы, а также о «Саге о Хервёр и конунге Хейдреке» (гл. 4, 5), где рассказывается о деве-воительнице по имени Хервёр, единственной дочери Ангантюра, который погибает до ее рождения.

Хервёр описывается в саге как типично германская «щитовая дева»: с самого раннего возраста она лучше владеет луком со стрелами, копьем и мечом, чем иголкой с ниткой. Не зная о том, кто ее отец, она воспитывается у своего деда, ярла Бьяртмара из Альдейгьюборга (Старая Ладога). Став взрослой, Хервёр (в полном вооружении и в мужской одежде) сначала убивает

и грабит людей, а потом, узнав о судьбе своего отца, присваивает себе мужское имя (Хервард), присоединяется к отряду викингов и становится его вожаком. Отправляясь на поиски могилы отца, она говорит матери: «Снаряди меня так, как снарядила бы сына»¹⁸. Прибыв на остров Самсей, где похоронен ее отец Ангантюр, она на закате отправляется к его кургану, преодолевает огненную преграду и вступает с ним в диалог, переложенный в поэме «Пробуждение Ангантюра». Она требует от отца принадлежавший ему при жизни меч Тюрфинг и, несмотря на его гнев, грозные пророчества и предупреждение о том, что «ни одна женщина в мире не смеет взять его в руки», добивается своего. Получив меч, Хервёр возвращается в мир живых и продолжает некоторое время вести образ жизни, подобающий мужчиневоину, однако затем выходит замуж, у нее рождаются двое сыновей, один из которых (Хейдрек) и есть главный герой саги.

Поведению героини можно дать самые различные объяснения, в том числе психоаналитические. Несомненно, что главным мотивом ее действий является стремление завладеть мечом, составляющим достояние ее рода и передаваемым по наследству по мужской линии (Ангантюр уна-

¹⁸ Hervarar saga ok Heiðreks / G.Turville-Petre. London,1956 (Viking Society for Northern Research. Text Series,2). Ch. 4, 5.

следовал его от своего отца Арнгрима). Так как Хервёр оказывается единственным отпрыском героического отцовского рода, ей приходится взять на себя функции сына¹⁹. Когда Ангантюр вручает ей меч, он наделяет ее всеми достоинствами, «силой и отвагой» (afl ok eljun), свойственными сыновьям Арнгрима. Пока у нее не рождается свой сын, потомок героического рода ее отца, которому она может передать меч, она продолжает быть «потомком Арнгрима» сама.

Отважная Хервёр, посвятившая жизнь поискам меча, спускающаяся за ним под землю (в курган), сродни и англосаксонской королевевоительнице Елене (да. guðcwen), отправляющейся в поход на поиски Животворящего Креста, и героиням скандинавских рыцарских саг о девахправительницах, для которых, как уже упоминалось, существует специальное обозначение - meykongr (от mey – «дева», kongr – «король»). Героиня этих саг знаменательно именует себя «королем» (kongr), но не «королевой» (dróttning). Соотношение между упомянутыми лексемами не исчерпывается родовыми различиями. Хотя титул королевы – dróttning – может относиться и к незамужней правительнице, и к жене короля, в сагах он обычно подразумевает указание на ограниченность власти, производной от власти супруга-короля (kongr, konungr).

Неполную синонимичность обозначений можно показать на примере «Саги о Парталопе», единственной переводной саги, где образ героини переосмысляется (в отличие от французского романа XII в. «Партонопей Блуасский», послужившего для нее оригиналом) в соответствии с исконной исландской традицией, именно как образ девы-правительницы (meykongr), отвергающей всех женихов до тех пор, пока ее не завоевывает самый доблестный. Героиня «Саги о Парталопе» Мармория становится в возрасте пятнадцати лет, после смерти своего отца, правительницей всей Греции, в ее подчинении находятся двадцать четыре правителя других стран, в том числе Парталоп, сын короля Франции и ее будущий муж. Советники побуждают ее вступить в брак, однако ей кажется унизительным титул императрицы - keisarina (или, согласно другой версии саги, «королевы» – dróttning) – после того, как она называла себя «дева-король» (meykongr).

Марморию напоминает героиня «Саги о Сигргарде Смелом», пятнадцатилетняя Ингигерд, которая после смерти отца созывает собрание и провозглашает себя королем (kongr) над всей страной. Автор саги комментирует, что женщины, которые вели себя таким образом, назывались в то время «девами-правительницами» (meykongar). Когда

 $^{^{19}}$ *Clover C.J.* Maiden warriors and other sons // Journal of English and Germanic Philology. 1986. Vol. 85. P. 35–49.

Сигргард сватается к ней, она объявляет ему, что во всем превосходит его, ибо единолично владеет всей полнотой власти в своей стране, считает саму себя «своей наилучшей советчицей»²⁰ и никогда ни у кого и ни в чем не собирается спрашивать позволения (V, 54–55). Желание Ингигерд быть именно королем, а не королевой, удостоверяется тем, что она присваивает себе мужское имя Инги. От лица рассказчика добавляется, что она была столь властной и на всех наводила такой ужас, что никто не осмеливался перечить ей ни в чем (V, 49). Напомним, что и Елена в англосаксонской поэме тоже требует беспрекословного повиновения и подчиняет всех своей воле.

Присвоившую себе мужское имя Ингигерд можно сравнить с героиней одной из саг о древних временах – «Саги о Хрольве, сыне Гаутрека». Торнбьёрг, единственная дочь шведского короля Эйрика, с самого детства преуспевает в воинских искусствах. Когда отец наделяет ее воинами и вручает ей в правление третью часть страны, она провозглашает себя девой-правительницей (meykongr) и дает обет не вступать в брак. Свое имя она переделывает в мужское и называет себя Торберг, поэтому пришедший свататься к ней

Хрольв обращается к ней так, как обратился бы к королю: «Да здравствуешь ты, господин (herra), и да процветает твое королевство»²¹ (III, 81). Торнбьёрг делает вид, что принимает Хрольва за нищего, и с позором прогоняет его и сопровождающих. Отвергнутый Хрольв собирает войско, вызывает «короля Торберга» на бой, побеждает «его» и тем принуждает Торнбьёрг признать его превосходство и вступить с ним в брак.

В сагах о девах-правительницах, за словесным портретом героини обычно следует рассказ о ее прочих совершенствах. Как и в поэме Кюневульфа «Елена», в этих сагах акцентируется мудрость героини. В «Саге о Нитиде», например, о героине говорится, что она была наделена не меньшими способностями, чем самый выдающийся ученый, «своим умом она могла бы воздвигнуть крепчайшую стену вокруг ума других людей» и перехитрить всех; она «могла отыскать десятки решений любой задачи, для которой другие находили только одно решение» (V, 4). В уже упоминавшейся «Саге о Хрольве, сыне Гаутрека» Торнбьёрг называется «более мудрой и красивой, чем другие женщины» (IV, 62), брат же героя Кетиль говорит, что в Скандинавии не найти лучшей невесты, ибо она превосходит всех женщин (IV, 67-68).

²⁰ Sigrgarðs saga frækna // Late Medieval Icelandic Romances / A. Loth. Copenhagen, 1965 (Editiones Arnamagnæanæ. Ser. B. Vol. 24). P. 54–55.

²¹ Hrólfs saga Gautrekssonar // Fornaldar Sögur Nordrlanda / C.C. Rafn. København, 1830. Bd. 3. S. 81.

О Седентиане в «Саге о Сигурде Молчаливом» повествуется: «И когда эта выдающаяся девушка поняла, что она отмечена и украшена всеми природными дарами мира и превосходит других женщин в красноречии и всех науках, ее высокомерие и гордость стали расти, и она начала почти презирать всех знатных жен и сыновей благородных людей так сильно, что не могла подумать ни об одном рожденном в северном полушарии, с которым она могла бы соединиться в любви, не навлекая на себя позора» (II, 100). Автор саги объясняет гордыню героини и нежелание вступать в брак ее высоким мнением о собственной красоте и учености, а не только унаследованным ею богатством и неограниченной властью, поэтому идеализированное описание ее внешности, ума, учености, обходительности не вступает в противоречие с ее жестокостью по отношению к встреченным ею мужчинам. Напомним, что и поведение Елены по отношению к Иуде, которое тоже может на первый взгляд показаться жестоким, получает полное оправдание в контексте поэмы.

Поведение героини по отношению к мужчинам, претендующим на роль женихов, предвосхищается и мотивируется во всех сагах о девахправительницах. Так, в «Саге о Кларусе» учитель рассказывает королевскому сыну о принцессе Серене, которая столь умна и сведуща в науках, что вся ученость принца покажется равной не-

вежеству пахаря²² (V, 7). Из описания Филотемии в «Саге о Динусе Заносчивом» можно заключить, каким именно было образование девыправительницы, которое помогало ей отвадить нежеланного жениха: «Она так хорошо освоила все семь книжных наук с примыкающими к ним областями, что каждое искусство, казалось, происходило от нее, и не было ей равных в целом королевстве. Она изучила волшебство и язык рун так, что никто не мог сравниться с ней во всем мире, ей была известна вся природа земли, и ход небесных светил, и наука о звездах, все свойства растений, камней, деревьев, побегов, источников всего мира. Поэтому она владела великими чарами и многим тем, о чем даже мудрые мужи не имели представления»²³ (12–13).

Сюжет «Саги о Динусе Заносчивом» строится вокруг того, как Филотемия, подобно другим девам-правительницам столь же умная, сколь и жестокая, использует свои искусства и чары в борьбе с женихом, который во всех отношениях является ее alter ego. Как и она, он хорош собой, владеет всеми науками, волшебством и рунами и, подобно ей, не желает и думать о браке. Филотемия при помощи своих чар (волшебного ябло-

²² Clari saga // Riddarasögur / Bjarni Vilhjálmsson gáf út. Reykjavík, 1953. Bd. V. Bl. 7.

²³ Dínus saga drambláta // Riddarasögur / Jónas Kristjánsson gáf út. Reykjavík, 1960. Bls. 12–13.

ка) заставляет его полюбить себя лишь для того, чтобы помериться с ним силами и испытать удовольствие его отвергнуть.

Унижение жениха, социальное неравенство героя и героини входят в число топических мотивов саг о девах-правительницах. Рассказ об оскорблениях, которым подвергается герой, и наносимых ему увечьях варьируется из саги в сагу и обычно включает побои, бритье волос, валяние в дегте. В «Саге о Викторе и Блавусе» героиня тоже сначала предлагает жениху разделить с нею ложе, подносит ему сонное зелье, а затем обривает его, приказывает извалять в дегте и бросить в глухом лесу (37-38). В «Саге о Сигурде Молчаливом» сходному наказанию подвергаются старшие братья героя Хальвдан и Вильяльм. Дева-воительница Седентиана велит обрить обоих братьев, вывалять в дегте, избить (II, 126–127). Явившийся отомстить за братьев герой тоже заключается под стражу, а затем помещается на две недели в яму с ядовитыми змеями и ящерицами. Вспомним о том, что Елена в поэме Кюневульфа подвергает Иуду сходному наказанию, заключив его в яму и лишив еды и питья.

Очевидно, унижения, которым подвергаются герои саг, должны были символизировать полное отрицание их социального статуса, а возможно, и нарушение самоидентификации. В физическом и моральном унижении героя видели также же-

лание героини получить над ним полную власть и добиться сексуального превосходства²⁴, сами же саги о девах-правительницах трактовались как плод монашеской мизогиничности и, в более широком плане, как отражение того отношения к женщине, которое было характерно для позднесредневековой христианской культуры²⁵. Внимание исследователей привлекало также социальное положение описываемых персонажей: основной конфликт саг о девах-правительницах рассматривался как результат стремления героя добиться более высокого социального статуса благодаря выгодному браку²⁶.

Исландские саги свидетельствуют о том, что «особую привлекательность женщине в глазах мужчины часто сообщало социальное положение ее отца или богатство, унаследованное ею от первого брака»²⁷. Возможно, именно поэтому исландские девы-правительницы изображаются как наиболее желанные невесты — брак с ними был,

²⁴ *Amory Fr.* Things Greek and the Riddarasögur // Speculum, 59. 1984.

²⁵ *Glauser J.* Isländische Märchensagas: Studien zur Prosaliteratur im spätmittelalterlichen Island // Beiträge zur nordischen Philologie, 12. 1983. S. 206–207.

²⁶ Kalinke M.E. Bridal-Quest Romance in Medieval Iceland. Islandica XLVI. Ithaca, London, 1990. P. 121–123. ²⁷ Jochens J.M. Consent in marriage: Old Norse Law, Life and Literature // Scandinavian Studies, 58. 1986. P. 142–176.

несомненно, выгоден, потому что, будучи единственными наследницами родового имущества, они целиком передавали его в руки мужа²⁸. Однако только в исландских сагах героиня стоит перед осознанным выбором: вступить в брак или сохранить власть. И только в исландских сагах героиня решает его в пользу власти и сохранения родового имущества.

Не исключено, что представления о девахправительницах коренятся в социальной реальности, в которой в определенных обстоятельствах женщины были вынуждены не столько по собственному выбору, сколько под давлением обстоятельств брать на себя функции мужчин: они исполняли долг мести, вступали в права наследства, платили wergild. Их отвращение к браку, очевидно, объясняется желанием сохранить неограниченную власть над своей страной, унаследованную от отцов и представляющую достояние рода. Героини исландских саг отвергают предложения матримониальных сделок, так как считают, что превосходят своих женихов по древности рода, власти, богатству, уму и образованности. Брак означает для них и утрату власти, и зависимость от мужа. Самоочевидно, что интересы героя, желающего повысить свой социальный статус и благосостояние, и его невесты, стремящейся сохранить всю полноту власти над страной, трудно примирить.

Неизвестно, повлияла ли на скандинавскую традицию античная культура, в частности, греческие амазонки. Неизвестно также, какая реальность стоит за образами дев-воительниц (судя по археологическим данным, оружие в женских погребениях до сих пор не найдено). Предполагалось влияние на этот жанр арабских сказок²⁹, однако сюжет о строптивой невесте встречается не только в восточном, но и в германском фольклоре. В собрание сказок, созданное братьями Гримм, включен рассказ («Король Дроздобород») о королевской дочери, которая крайне высокомерна, хотя и хороша собой, никого не считает достойным своей руки и не только отказывает всем женихам, но наделяет их издевательскими прозвищами и осыпает злыми словечками. Эту строптивую невесту укрощает осмеянный ею жених, являющийся к ней в обличье нищего музыканта и заставляющий ее саму тоже испы-тать унижения и оскорбления.

²⁸ Об утрате прав вступающей в брак женщины на владение унаследованным имуществом пишут многие медиевисты, ср., например, *Duby G.* Medieval Marriage: Two models from Twelfth-Century France / Trans. Elborg Forster. Baltimore, 1978. P. 101: «при отсутствии родственников мужского пола, способных оспорить ее наследственные права, женщины отдают все свое родовое состояние, когда вступают в брак».

²⁹ Kalinke M.E. Bridal-Quest Romance. P. 105–108.

Сходный сюжет об «укрощении строптивой» используется также в норвежской сказке о Хаконе Бородаче (Hkon Borkenskjegg), включенной в собрание Асбьёрнсена и Му (как и в исландских сагах о девах-правительницах, здесь тоже появляется мотив женской алчности: герой одерживает победу с помощью золотого веретена).

Можно предположить, что образы дев-правительниц, встречающиеся преимущественно в германской традиции, восходят к фольклорному архетипу, причем особенное развитие этот фольклорный архетип получает в исландских рыцарских сагах. Знаменательно, что рассказы о сильных духом правительницах чаще всего встречаются в сагах, где большую роль играет вымысел, сказочная фантастика.

Саги о девах-правительницах наиболее близки к исконной древнескандинавской мифологической и литературной традиции. Следует заметить, что образы дев-воительниц, вероятно, восходящие к фольклорному архетипу и встречающиеся не только в германской, но и в романской, кельтской, славянской традициях, несколько отличаются от героинь исландских рыцарских саг, где, как можно предположить, тот же фольклорный архетип получает особенное развитие. Исландские девы-правительницы гонят не только тех, кто к ним сватается, но и самую мысль о браке, а потому подвергают всех без исключения женихов разнообразным оскорблениям и истязаниям. Скорее всего, образы героинь в сагах о девах-правительницах восходят к той же древнегерманской традиции, что и «щитовые девы» из саг о древних временах, валькирии, подобные Сваве и Сигрун, в песнях «Старшей Эдды», скандинавские королевы, описанные Саксоном Грамматиком, гордая владычица Трюд в «Беовульфе».

Образ героини Кюневульфа, несомненно, имеет много общего со скандинавскими девамиправительницами. Так же, как и скандинавские правительницы, Елена тверда духом, отважна и добивается повиновения любой ценой. Однако непреклонность Елены не исключает милосердия и сострадания. Она тверда в стремлении достичь цели, но готова простить раскаявшихся. Если девыправительницы описываются как обрекшие себя на добровольное одиночество, то Елена напротив, всегда окружена людьми. Создатель поэмы описывает ее как идеальную правительницу (сwen selesta 1169а — «наилучшая правительница», агwyrðe cwen 1128b—1129а — «достойная почести правительница»).

Как и скандинавские девы-правительницы, Елена – носительница мудрости, однако она наделена этим даром на благо всех людей: «...она знала истину, которая давно, с начала мира, была заповедана на милость людям. Она была полна даром мудрости...» (1139b–1143a). Она прощает

вчерашних врагов и решает собрать лучших среди известных ей людей, заповедав своим избранным жить в любви, мире и дружбе. Так, в образе Елены раскрывается новая ипостась – «королевавоительница» (guðcwen), какой она изображалась в начале поэмы, становится «правительницей народа», «могущественной королевой» (þeodcwen 1155b)³⁰, получая традиционную для англосаксонской поэзии женскую роль «защитницы мира» (friðusibb)³¹ или «пряхи мира» (freoðuwebbe)³²: «Она приказала / наилучшим / среди иудеев / лю-

дям, которых знала, // из рода героев, / придти вместе в эту святую крепость / в этом городе. / Тогда правительница начала / учить кучку любимых людей (leofra heap), / безгрешных / во время их жизни, / чтобы они крепко держались / любви к Господу, / а также мира / и дружбы / между собою, / и своего руководителя / наставлений слушались...» (1201–1209).

Эпилог

В заключительной части поэмы появляется еще одно действующее лицо - рассказчик, говорящий о самом себе и о том, какую роль в его жизни сыграла «Елена». Знаменательно не только первое лицо, но и прошедшее время, использованное в этом рассказе, - оно свидетельствует о том, что сочинение поэмы стало переломным в судьбе ее создателя. До того, как была создана поэма о Елене, ее автор, сознавая всю глубину своего невежества, страдал от горя, не спал ночами, совершал дурные поступки, мучился от невзгод. Во время работы над «Еленой» он почувствовал, как ему во тьме воссиял свет, открылись мудрость и истина. Сочинение поэмы спасло его от бед, помогло ему победить зло в своем сердце, освободиться от страданий, раскрыть дремавший в нем талант. Поэтический дар, которым он был наделен Свыше, преобразил душу поэта, вызволил из тьмы невежества, помог справиться с выпавшей ему на

 $^{^{30}}$ О значении субстантивного эпитета в сложном слове þeodcwen (1155b) см. сноску номер 5.

³¹ «Защитницей мира» (friðusibb folca – букв. «залог мира народов») называется в «Беовульфе» (2017а) жена Хродгара Вальхтеов. Сравнение Вальхтеов и Елены см.: Damico H. Wealhtheow and the Valkyrie Tradition. Wisconsin, 1984. P. 26–28.

³² Эта роль миротворицы (freoðuwebbe — «пряхи мира»), как сказано в «Беовульфе», не далась гордой владычице Трюд: «Не к лицу то властительнице, / не пристало то женщине, / даже лучшей из жен, / прях согласья...» (1940–1941). Высказывалось предположение, что традиционная для древнеанглийской поэзии роль женщины как миротворицы (ср. обозначения freoðuwebbe — «пряха мира», friðusibb — «защищающая мир») отводится тем женским персонажам, чья роль в произведении преимущественно сводится к «политической и дипломатической», см. *Sklute L.M.* Freoðuwebbe in Old English Poetry // Neuphilologische Mitteilungen. Bd. 71. 1970. S. 534–541.

долю великой честью – поведать миру похвальное слово Елене. Для создателя поэмы Елена стала не только спасительницей, вызволившей его из духовного небытия и наделившей способностью сочинять, но и музой, которая озаряет его жизнь и его творческий путь:

«Так я, одряхлевший, в ожиданье смерти Слов познавши силу, их сплетал красиво. Из-за дум порою я не знал покоя В тишине ночей; я не ведал всей Правды о Кресте. Вновь родиться мне Мудрость помогла: силы мне дала В знании духовном. Помыслов греховных Да и дел неправых в жизни мне хватало; Горести и беды шли за мною следом. Но тогда Правитель, всех судеб Вершитель, Правду мне явил, ум мой прояснил, Дал мне пониманье чуда мирозданья, Сердце мне смягчил он, тело легкокрылым Сделать не забыл. Дар певца открыл: Дар благословенный, радостный, нетленный. И, прозрев душою, в мир понес его я...» (1236a-1251a)



Сергей Козлов

І. Текст

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА И НЕГОДНЫЙ ВЕК (из комментария к «Цветам Зла»)

Елене Шумиловой, с любовью

Это – еще один фрагмент не законченного до сих пор комментария к русскому изданию «Цветов Зла». Общие принципы всего комментария были изложены в предыдущей публикации: Козлов 2005, 218. Напомним лишь, что этот комментарий ориентирован на обычную схему критических изданий ЦЗ: текст второго прижизненного издания + Приложение. Соответственно, комментируемый текст приводится по ЦЗ-2, и все стихотворения Б. обозначаются в комментарии римским порядковым номером согласно нумерации, принятой в ЦЗ-2. Номер стихотворений, не вошедших в ЦЗ-2, указывается по Приложению.

XVIII. L'IDÉAL

Ce ne seront jamais ces beautés de vignettes, Produits avariés, nés d'un siècle vaurien, Ces pieds à brodequins, ces doigts à castagnettes,

4 Qui sauront satisfaire un coeur comme le mien.

Je laisse à Gavarni, poète des chloroses, Son troupeau gazouillant de beautés d'hôpital, Car je ne puis trouver parmi ces pâles roses

8 Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal.

Ce qu'il faut à ce coeur profond comme un abîme, C'est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime,

11 Rêve d'Eschyle éclos au climat des autans;

Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel-Ange, Qui tors paisiblement dans une pose étrange 14 Tes appas façonnés aux bouches des Titans!

II. Подстрочный перевод

XVIII. ИДЕАЛ

Никогда эти виньеточные чаровницы, Эти гнилые продукты негодного века, Эти ножки в шнурованных ботинках, эти пальчики с кастаньетами

- 4 Не сумеют удовлетворить сердце, подобное моему.
 - Оставляю в распоряжение Гаварни, поэта хлорозов,

Его щебечущее стадо больничных красавиц, Ибо я не могу найти среди этих бледных роз

в Цветок, похожий на мой алый идеал.

Такому сердцу, глубокому, как бездна, Нужны вы, Леди Макбет, могучая душа, способная на преступление,

11 Эсхилова греза, расцветшая в краю порывистых морских ветров, –

Или же ты, великая Ночь, Микеланджелова дщерь,

Безмятежно извивающая в странной позе 14 Свои прелести, рассчитанные на уста Титанов!

III. Стихотворный перевод

ИДЕАЛ

Нет, ни красотками с зализанных картинок – Столетья пошлого разлитый всюду яд! – Ни ножкой, втиснутой в шнурованный ботинок,

4 Ни ручкой с веером меня не соблазнят.

Пускай восторженно поет свои хлорозы, Больничной красотой прельщаясь, Гаварни – Противны мне его чахоточные розы:

8 Мой красный идеал никак им не сродни!

- Нет, сердцу моему, повисшему над бездной, Лишь, Леди Макбет, вы близки душой железной,
- 11 Вы, воплощенная Эсхилова мечта, Да ты, о Ночь, пленить еще способна взор мой, Дочь Микеланджело, обязанная формой
- 14 Титанам, лишь тобой насытившим уста!

(Бенедикт Лившиц)

IV. Комментарий

Впервые: МА от 09.04.1851 (см. коммент. к № IX); затем – ЦЗ-1. Автограф не сохранился.

По контексту большинство комментаторов предположительно датирует комментируемый текст серединой (если не первой половиной) 1840-х гг.

Продолжение темы женской красоты (ср. №№ XVII–XXI). Сонет строится как противопоставление двух эстетических идеалов, один из которых связывается с современностью (ст. 1–8), а другой – с прошлыми веками (ст. 9–14): греческая Античность сплетается здесь с шотландским Средневековьем, английским и итальянским Возрождением в неразрывное целое. Это еще один вариант постоянной бодлеровской антитезы 'Древность / Современность' (ср. коммент. к № IV, ст. 9–14; к № V и к № VII). Два типа женской красоты противопоставлены здесь по признаку 'сила / слабость'; этим признаком здесь характе-

ризуется и физический, и душевный облик женщины.

Телесный аспект бодлеровского сопоставления соотносится с некоторыми мотивами творчества Теофиля Готье, а также Теодора де Банвиля: Банвиль являлся в 1840-е гг. эпигоном и Готье, и Альфреда де Мюссе. В «Мадемуазель де Мопен» Готье восхвалял плотскую красоту Венеры и отвергал воздушную красоту Мадонны (Gautier 1966, р. 203). Женский идеал Готье отличался акцентированной телесностью:

Что касается женской полноты, то она должна быть скорее избыточной, чем недостаточной. В этом вопросе я придерживаюсь несколько турецких вкусов...

(Gautier 1966, p. 73)

В романтическом кружке, собиравшемся с конца 1834 г. на общей квартире Готье, Нерваля, Камиля Рожье и Арсена Уссе в доме № 3 по улице Дуайенне («кружок тупичка Дуайене»), культивировался идеал «рубенсовской женщины» (ср. № VI, ст. 1–4). (Подробнее см.: Poulet 1966.) Принципиально важно то, что этот идеал всегда мог проецироваться как в чисто эстетическую, так и в чисто эротическую плоскость. Чисто эротическую интерпретацию этого идеала см., например, у Банвиля, писавшего в поэме «Каменные поцелуи» («Les baisers de pierre», май 1841 г.; опубликована в сборнике Банвиля «Кариатиды», 1842):

Aussi lorsque j'ai soif de rage et de caresse, En un mot, que je veux choisir une maîtresse Telle que le dieu grec les élève à son jeu, Une femme de lit, je m'inquiète peu Des petits pieds de reine et des yeux en amandes. Ce qu'il me faut, à moi, ce sont les chairs flamandes Que dessinait Rubens de son hardi pinceau. Quant à ces doña Sol aux tailles d'arbrisseau Dont les cheveux pleureurs vont en rameaux de saules.

C'est trop triste pour moi. Mais de larges épaules, Des jambes d'amazone et des bras sans défaut, Et des muscles de fer, voilà ce qu'il me faut.

(ст. 281–292)

[Посему, когда я жажду бешенства и ласки – Одним словом, когда я хочу выбрать себе любовницу

Такую, каких выращивает для своей игры греческий бог, –

Женщину для постели, – тогда меня мало

волнуют

Миниатюрные королевские ножки и миндалевидные глаза.

То, что нужно мне – это фламандские телеса, Которые рисовал Рубенс своей смелой кистью. А все эти доньи Соль с талией, подобной чахлому деревцу,

С их плакучими волосами, ниспадающими как ивовые ветви, –

Для меня это слишком уныло. Зато широкие плечи,

Ноги амазонки и безупречные руки, И железные мускулы – это то, что мне нужно.]

В тексте Б. сохраняется это изначальное колебание идеала между эстетикой и эротикой (об эротическом аспекте см. в коммент. к № XIX). Оригинальность Б. состоит в предельном расширении смысловой многозначности текста. Чисто физический подход к женщине претерпевает психологизацию: телесная мощь ассоциируется со страстной душой, а главное – с глубоким душевным надломом («мучительной тайной» – см. коммент. к № XII, ст. 14), который и является для Б. необходимым признаком красоты.

Ст. 1–4: обобщенное описание женских типов, запечатленных на рисунках Гаварни (см. ст. 5).

Поль Гаварни (наст. имя – Сюльпис Гийом Шевалье, 1804–1866), рисовальщик и живописец, прославившийся циклами бытовых зарисовок, посвященными французским социальным типам 1830–1840-х гг. Характеристику творчества Гаварни см. в статье Б. «О некоторых фрацузских карикатуристах» (1857): Об искусстве, с. 168–169. По свидетельству Э. Прарона, Б., «будучи крайне пристрастным, выделял среди рисовальщиков Домье и терпеть не мог Гаварни» (цит. по: Сте́рет, Blin 1942, р. 328). Прарон описывает позицию Б. по состоянию на 1842–1846 гг.

Женские типы занимают важнейшее место почти во всех графических циклах Гаварни. Для

комментария к данному сонету наиболее важны четыре цикла Гаварни – «Парижские студенты» (1838–1840), «Актрисы» (1839), «Гризетки» (1839) и «Лоретки» (1841–1843). В 1845–1846 гг., в составе сборников избранных работ Гаварни, циклы «Парижские студенты» и «Лоретки» издавались с апологетическими предисловиями Теофиля Готье. Таким образом, катрены бодлеровского сонета неизбежно несут в подтексте полемический выпад против Готье (которому, напомним, Б. посвятил весь сборник ЦЗ). Ср. в брошюре Б. «Салон 1846 года» (опубликована в мае 1846 г.):

Сегодня утром я прочитал статью г-на Теофиля Готье, где автор превозносит г-на Видаля за мастерское воплощение современного понимания красоты. Бог знает, отчего г-ну Теофилю Готье вздумалось в этом году облачиться в пелерину благодетеля, но он расхвалил всех без разбора, не обойдя ни одного жалкого пачкуна. Уж не потому ли он так раздобрился, что и для него пробил торжественный и усыпляющий час вступления в Академию? Неужто литературный успех оказывает столь пагубное воздействие, что публике приходится призывать нас к порядку и напоминать нам о наших прежних регалиях романтиков?.. (Об искусстве, с. 101, с изменением).

Похвалами в адрес Гаварни и Видаля Теофиль Готье в глазах Б. позорил себя и свои издавна декларированные романтические идеалы. Пьер-

Венсан Видаль (1811-1887) выставлялся в Салонах 1841-1846 гг. под именем Виктор Видаль. Он был автором пастелей, которые критика сравнивала с работами Ватто, Буше и Фрагонара. «Мода на Видаля началась, помнится, три-четыре года назад», - отмечал Б. в той же брошюре (Об искусстве, с. 101). Б. беспощадно критикует Видаля за «фанатическую приверженность ко всему мелкому и хорошенькому [le fanatisme du petit et du joli]» (Об искусстве, с. 101, с изменениями). Б. опирается здесь на традиционную французскую антитезу le beau / le joli ('прекрасное / хорошенькое'), где первое понятие ассоциируется с величием и большим размером, а второе - с легкомыслием и маленьким размером (подробнее см.: Козлов 1986). Б. считал творчество Видаля слишком ничтожным, чтобы подробно останавливаться на нем (см.: Об искусстве, с. 102), поэтому в комментируемом сонете открытой мишенью для полемики стал Гаварни как художник гораздо более талантливый и значительный. Однако и репутация «певца современной женщины», и приверженность к мелкому и хорошенькому - и, наконец, похвалы Теофиля Готье - объединяют Гаварни с Видалем.

Ст. 1: ...beautés de vignettes / виньеточные чаровницы – слово vignettes ('виньетки' и, расширительно, 'гравюры, эстампы, книжные и журнальные иллюстрации') подходит к творчеству обоих вышеназванных художников, так как и карикатуры Гаварни, и некоторые пастели Видаля распространялись в литографированном виде.

Ст. 3: ...pieds à brodequins / ножки в шнурованных ботинках – ср. в предисловии Готье к циклу Гаварни «Парижские студенты»:

Латинский квартал населен массой гризеток особого рода. Их называют студентками, хотя ни одному наблюдателю еще не удалось определить, какую именно науку они изучают. [...]

А студентки! Как же досконально он [Гаварни] знает их шляпки «биби» [...], их чепчики, их шотландские накидки и шелковые шали, их изящные шнурованные полусапожки [brodequins] цвета «крыльев майского жука» [...]! С каким лукавством он изображает стоящие перед дверью студенческой комнатки большущие башмаки, а рядом с ними – два хорошеньких котурна, с крутым подъемом, на узкой подметке! (цит. по: Gavarni 1846, s. р.; курсив наш).

- **Ст. 3**: ...doigts à castagnettes... синекдоха, указывающая на танцовщицу.
- **Ст. 5**: ...chloroses (хлорозы, малокровие) медицинский термин, получающий богатые метафорические коннотации во французской культуре 1830–1860-х гг. Слово *chlorose* образовано от др.-греч. khlôros 'зеленый' под воздействием

книги Гиппократа «О предсказаниях» (§31), где Гиппократ говорит о зеленоватой окраске кожи при болезненных состояниях. Впервые слово chlorose было употреблено французским врачом Жаном Варандалем в его трактате «De morbis et affectibus mulierum» (1615). По определению Варандаля, хлороз - это особый вид истощения, свойственный женщинам, живущим в полном воздержании от половых сношений. Главный признак хлороза – бледный, с более или менее зеленоватым оттенком, цвет кожи. В 1830-х гг. слово chlorose начинают употреблять в переносном смысле для обозначения вяло-романтического стиля в литературе. В 1835 г. Сент-Бёв пишет о пьесе Виньи «Чаттертон»: «Я слышал, что эту новую болезнь, которая поражает молодые дарования, очень остроумно именуют литературным малокровием» (Sainte-Beuve 1869, p. 75). «Chlorose du style» («малокровие стиля») - предмет постоянных инвектив Флобера в его письмах к Луизе Коле. Ср., напр., письмо от 15-16.01.1854:

Разве ты не чувствуещь, что ныне все разлагается из-за расслабленности, водянистости, слезоточивости, болтовни, сюсюканья. Современная литература тонет в дерьме. Всем нам надо принимать железо, чтобы избавиться от старомодного малокровия [les chloroses gothiques], унаследованного от Руссо, Шатобриана и Ламартина (Флобер 1984, т. 1, с. 341. Перев. Е. Лысенко).

Неприятие «литературных хлорозов» неизменно сочеталось с увлеченностью античным язычеством (см. коммент. к № XVII). Подробнее о теме малокровия во французской культуре см.: Starobinski 1981. Б. использует здесь слово *chloroses* метонимически, но в подтексте сохраняются и его метафорические коннотации.

- **Ст. 6**: ...beautés d'hôpital в смысле 'красавиц как будто с больничной койки'.
- **Ст. 7**: ...pâles roses / бледные розы ср. название работы Видаля «Сезон роз», упомянутое у Б. в «Салоне 1846 года» (в *Об искусстве*, с. 102, оно заменено на «Розалинда»).
- Ст. 7-8: антитеза алый / бледный относится здесь одновременно и к цвету роз, и к цвету крови/цвету кожи у женщины. Применительно же к искусству алый идеал (rouge idéal) отсылает и к озеру крови как царству Делакруа (№ VI, ст. 29: см. коммент.), и к цветовой гамме «Страшного суда» Микеланджело в оценке Стендаля («История живописи в Италии», гл. CLXIX):

Любимый его тон – *красный* [...] Все эти так называемые недостатки были для Микеланджело тем привлекательнее, что являлись прямой противоположностью робкой и кропотливой манеры, дальше которой до него искусство не шло; он созидал *идеал* (Стендаль 1935, с. 336; курсив наш).

О цитатах из Стендаля у Б. см. ниже примеч. к ст. 12, 13 и 14.

Ст. 9: ...coeur profond comme un abîme / сердцу, глубокому как бездна — ср. N_{Ω} XIV.

Ст. 10: обращение к образу леди Макбет было, очевидно, продиктовано впечатлениями от книги Стендаля «История живописи в Италии» (см. коммент. к ст. 12) и могло быть дополнительно стимулировано картиной Делакруа «Леди Макбет». Полотно было выставлено в Салоне 1850 года (экспозиция открылась 30.12.1850). Поскольку Б. посещал мастерскую Делакруа, начиная, во всяком случае, с 1846 года, – он мог познакомиться с замыслом Делакруа и задолго до открытия Салона. Картина изображала сцену сомнамбулизма из шекспировской трагедии («Макбет», V, 1). Когда Салон закрылся, Делакруа подарил это полотно Теофилю Готье.

Ст. 11: *Rêve d'Eschyle / Эсхилова греза* – в смысле 'героиня, достойная трагедий Эсхила'. Героиней, сюжетно и психологически сопоставимой с леди Макбет, является у Эсхила Клитемнестра в «Орестее». Со- и противопоставление Шекспира и греческой трагедии – общее место романтической мысли, восходящее к Гердеру (очерк «Шекспир», 1773 – см.: Гердер 1959, с. 3–22). Можно усмо-

треть здесь у Б. полемический жест по отношению к тем авторам, которые, вслед за Гердером, делали акцент на *противо*поставлении Шекспира греческим трагикам: Б., наоборот, уравнивает Шекспира и Эсхила.

Сопоставление шекспировского «Макбета» именно с Эсхилом см., например, у г-жи де Сталь: «Эвмениды, преследующие Ореста, не так ужасны, как сон леди Макбет» («О литературе», 1800; см. Сталь 1989, с. 190). Образ Эсхила, подразумеваемый в данном контексте у Б., напоминает в общих чертах характеристику Эсхила, данную Йозефом Гёрресом в «Афоризмах об искусстве» (1801):

Образцом продуктивной драматической поэзии может послужить нам Эсхил: колоссальная сила воображения ввергает нас в мир титанов, голова наша кружится, ужас охватывает нас, когда поднимаются на наших глазах гигантские массы, направляя свое движение друг против друга, когда они, подобные огромным теням, что вершины гор отбрасывают на облака, пребывают между небом и землею и грозно теснят небо и землю (ЭНР, с. 167–168).

Особо отметим в вышеприведенной цитате из Гёрреса упоминание о *титанах*. Ср. отсылку к титанам в заключительном стихе комментируемого сонета. (О других параллелях между Б. и Гёрресом см. также коммент. к $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$ II и к $\mathbb{N}_{\mathbb{Q}}$ IV.)

Ст. 12: «Ночь» – знаменитое изваяние работы Микеланджело на гробнице Джулиано Медичи в капелле Медичи во Флоренции. Очевидным признаком, сближающим микеланджеловскую Ночь и леди Макбет, является состояние сна: леди Макбет – сомнамбула (см. примеч. к ст. 10), а наиболее известное осмысление микеланджеловской статуи содержится в четверостишии, которое написал от ее имени сам Микеланджело:

Молчи, прошу, не смей меня будить. О, в этот век преступный и постыдный Не жить, не чувствовать – удел завидный... Отрадно спать, отрадней камнем быть.

(Перев. Ф. Тютчева, 1855)

Неприятие современного состояния мира, заявленное в этом четверостишии у Микеланджело (ст. 2 в оригинале – «mentre che il danno e la vergogna dura / до тех пор, пока длятся порча и позор») может быть сопоставлено с неприятием «негодного века» в ст. 2 комментируемого текста – а также, при желании, и с аналогичным мироощущением в 66-м сонете Шекспира.

Сближение шекспировского «Макбета» и Микеланджело встречается уже у Стендаля в «Истории живописи в Италии» (1817; глава CLXXI). Стендаль сожалел о том, что Микеланджело не популярен в Англии: ...англичане меня удивляют. Самый из всех энергичный народ должен бы почувствовать самого энергичного из художников...

Но все же она должна, рано или поздно, понять Микеланджело, – эта нация, для которой написаны и которая прекрасно чувствует следующие слова Макбета:

Давно я незнаком со вкусом страха, А ведь, бывало, чувства леденил Мне крик в ночи и при рассказе страшном Вставали волосы и у меня. Но ужасами я уж так пресыщен, Что о злодействе думать приучился Без содроганья. – Почему кричали?

(Стендаль 1935, с. 339–340. Цитата из «Макбета», V, 5, ст. 9–15, приведена нами в перев. Ю. Корнеева [в оригинале у Стендаля – на английском]. Макбет слышит крик, возвещающий о смерти леди Макбет.)

Б. неоднократно (три раза – открыто и как минимум два раза – скрыто) цитирует разные места из этой книги Стендаля все в том же «Салоне 1846 года». Так, в главе, которая называется «Об идеале и о модели» он целиком приводит из книги Стендаля главу СІ, где также имеется беглое упоминание о леди Макбет (Об искусстве, с. 96–97). Таким образом, отвергая и в «Салоне 1846 года», и в комментируемом тексте современное искусство, как его понимают Гаварни или Видаль,

Б. фактически солидаризируется со Стендалем, заявлявшим еще в 1817 году:

Нельзя не видеть, чего ищет XIX век; все усиливающаяся потребность в сильных чувствах составляет его характерный признак. [...] Жажда энергии привлечет нас к шедеврам Микеланджело. [...] Но мы не доросли еще до новой красоты. Нам надо избавиться еще от жеманства...

(Стендаль 1935, с. 366-367; курсив автора).

Имя Стендаля неоднократно связывается у Б. с именем Делакруа («Творчество и жизнь Делакруа», 1863 – Об искусстве, с. 265, 266, 274). – В итоге противопоставление бледной («зеленой») и алой крови оказывается не только противопоставлением двух физических и психологических типов женщины, но и противопоставлением двух типов искусства: Гаварни и неназванные ничтожества вроде Видаля – против Микеланджело и неназванного Делакруа; неназванные представители 'литературного малокровия' (Мюссе?) – против Эсхила, Шекспира и неназванного Стендаля.

Ст. 13: ср. у Стендаля («История живописи в Италии», гл. CLXI):

Мне все же очень нравится «Ночь», несмотря на ее вычурную позу, при которой сон невозможен...

(Стендаль 1935, с. 321).

И у него же в описании микеланджеловской «Мадонны с младенцем» – статуи, которая соседствует с «Ночью» в капелле Медичи (гл. CLXII):

Очень естественна поза Марии, наклонившейся к сыну.

(Стендаль 1935, с. 322).

Оксюморонная характеристика позы изваяния, содержащаяся в ст. 13, представляет собой, очевидно, контаминацию двух этих описаний, которая продолжается в ст. 14 (ср. обобщенно-синтезирующие характеристики творческого мира разных художников в № VI).

Ст. 14: имеются в виду физические размеры микеланджеловской статуи. Из двух возможных толкований стиха: «Титаны как любовники Ночи» или «Титаны как младенцы, сосущие грудь у Ночи», – следует, видимо, предпочесть второе. Ср. у Стендаля описание микеланджеловской «Мадонны с младенцем»:

Его [Микеланджело] мысль о том, что искусство должно внушать ужас, нигде не бросается так в глаза, как в «Мадонне с младенцем», помещенной между двумя гробницами. Своим телосложеньем Спаситель напоминает Геркулеса в детстве. В том, как стремительно повернулся он к матери, чувствуется уже сила и нетерпение.

(Стендаль 1935, с. 322).

Младенец у Микеланджело как будто сосет материнскую грудь, хотя грудь закрыта платьем. (Ср. реминисценцию этого же стендалевского описания в N_0 VI, ст. 13–14.) Ср. также мотив кормления грудью в речах леди Макбет у Шекспира («Макбет», I, 5; I, 7). Ср., с другой стороны, разработку темы женского гигантизма в N_0 XIX.

V. За пределами комментария

В заключение мы ненадолго выйдем за рамки «текстостремительного» подхода, по определению присущего жанру комментария, и поставим комментируемый текст в более широкий контекст высказываний Б., ради уяснения некоторых более общих мотивов бодлеровского мышления. В статье «Творчество и жизнь Делакруа» Б. будет писать:

Чувствительные и утонченные дамы испытают, быть может, разочарование, узнав, что, подобно Микеланджело (вспомните конец одного из его сонетов: «О божественная скульптура, ты моя единственная возлюбленная!»), Делакруа сделал Живопись своей единственной музой, единственной любовницей, единственным всепоглощающим наслаждением.

Должно быть, в дни мятежной юности он отдал много душевных сил женщине. Кто не приносил чрезмерной дани этому коварному кумиру?..

Но уже задолго до своего конца он исключил женщину из своей жизни.

(Об искусстве, с. 272-273)

Мысли о женщинах и о детях, которые Б. далее приписывает Эжену Делакруа, совпадают с устойчивыми мотивами творчества Б. Фактически Делакруа здесь выступает как образцовый художник-денди - идеализированный двойник самого Б. (Б. также приписывает ему «суровую торжественность и аскетизм, обычные у художников старой школы» [Об искусстве, с. 269] - ср. № IX). Но и Микеланджело в данном пассаже не историческая фигура, а рупор идей автора: Б. не цитирует, а пересказывает по памяти в переосмысленном виде два стиха из 12-го сонета Микеланджело, где Скульптура как верная подруга художника противопоставляется Времени как ненадежному другу. В соотнесении с этим пассажем из позднейшей статьи комментируемый текст обнаруживает дополнительные смысловые оттенки: его можно прочитать и как отказ от живых женщин, доступных художнику в окружающей реальности (лоретки, гризетки и актрисы, которых изображает Гаварни), ради великих произведений искусства. Такое прочтение, сомнительное, если воспринимать сонет в контексте 1840-х гг., становится возможным, если читать сонет глазами «идеального читателя» 1860-х гг.

Это прочтение может быть отчасти поддержано записью, которую Б. сделал в альбом Франсины Леду 26.08.1851 (т. е. вскоре после публикации комментируемого сонета):

По мере того, как человек продвигается по жизни и обозревает вещи с более высокой точки – для него во многом утрачивает свою важность то, что в мире зовется красотой, а равно и наслаждение, и масса прочей ерунды. Для взора, утратившего иллюзии и обретшего проницательность, все времена года по-своему хороши, и среди них зима – не самое дурное и не наименее феерическое. Когда приходишь к такому взгляду, красота оказывается всего лишь обещанием счастья – кажется, это слова Стендаля. Красотой оказывается та форма, которая обеспечивает максимум доброты, верности данным клятвам, надежности в исполнении контракта, тонкости в понимании отношений... (ОС, t. 2, p. 37).

В целом эта альбомная запись имеет мало общего с комментируемым текстом, однако она, подобно комментируемому сонету, содержит и противопоставление неких двух взглядов на женскую красоту (в данном случае – 'незрелого' и 'зрелого'), и определение идеальной красоты, и ссылку на Стендаля¹, а также и противопоставление

надежности / ненадежности, с которым связана апология искусства в 12-м сонете Микеланджело. Приняв все это во внимание, можно сказать, что в творчестве Б. значение ассоциативной цепочки 'Делакруа – Стендаль – Шекспир – Микеланджело' выходит за пределы комментируемого сонета. Но эта цепочка неизменно работает в творческом сознании Б. как абстрактная мнемоническая схема (в терминах мнемонической эстетики Б. – «иероглиф») для кодирования разных (и не обязательно взаимосогласуемых) видов Идеала: идеальной красоты, идеальной сексуальной партнерши, идеального искусства, идеального образа жизни.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ЛИТЕРАТУРЫ

Гердер 1959 – *Гердер И. Г.* Избр. соч. / Сост., вступ. ст. и примеч. В.М. Жирмунского. М.; Л.: ГИХЛ.

Козлов 1986 – *Козлов С. Л.* Категория joli во французской культуре XVII–XVIII веков // Литература в контексте культуры. М.: Изд-во Моск. ун-та. С. 128–144.

Козлов 2005 – *Козлов С.* Бодлер, «К читателю»: перевод и комментарий // НЛО. № 73. С. 218–231.

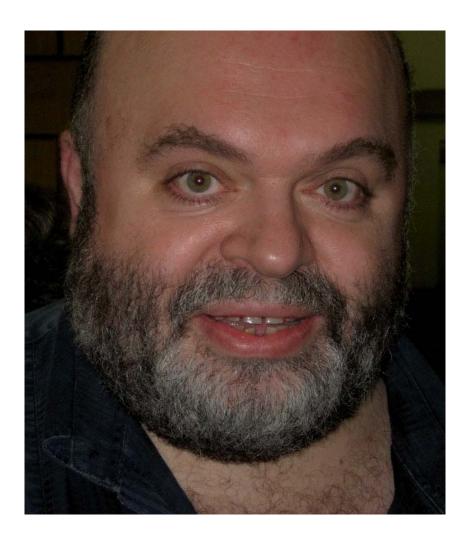
 $^{^1}$ Наиболее лаконичная и известная формулировка мысли о красоте как обещании счастья содержится в трактате Стендаля «О любви» (в примечании к гла-

ве XVII). Но и эту мысль Стендаля Б. уже цитировал в «Салоне 1846 года» (Об искусстве, с. 65) по тексту «Истории живописи в Италии» (глава СХ).

- Об искусстве *Бодлер Ш.* Об искусстве / Сост. Ю.Н. Стефанова и А.Д. Чегодаева, вступ. ст. В.В. Левика, перев. прозы Н.И. Столяровой и Л.Д. Липман, перев. стихов В.В. Левика, коммент. Ю.Н. Стефанова, послесловие В.А. Мильчиной. М.: Искусство, 1986.
- Сталь 1989 Сталь Ж. де. О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями / Сост. А.А. Аникста и В.А. Мильчиной, вступ. ст. А.А. Аникста, перев. и коммент. В.А. Мильчиной. М.: Искусство, 1989 («История эстетики в памятниках и документах»).
- Стендаль 1935 *Стендаль*. История живописи в Италии / Перев. В. Комаровича // Стендаль. Собр. соч. [в 15-и тт.] под ред. А.А. Смирнова и Б.Г. Реизова. Т. 8. Л.: ГИХЛ. С. 27–430.
- Флобер 1984 Флобер Г. О литературе, искусстве, писательском труде: Письма, статьи / В 2-х тт. / Сост. С. Лейбович, перев. под ред. А. Андрес, примеч. С. Кратовой и В. Мильчиной. М.: Худ. лит., 1984.
- ЭНР Эстетика немецких романтиков / Сост., перев., вступит. статья и коммент. А.В. Михайлова. М.: Искусство, 1987 («История эстетики в памятниках и документах»).
- ЦЗ «Цветы Зла».
- ЦЗ-1-«Цветы Зла», 1-е издание: LES ЦЗ-1-«Цветы Зла», 1-е издание: LES ||**FLEURS DU MAL**||par||CHARLES BAUDELAIRE. Paris: Poulet-Malassis et de Broise, libraires-éditeurs, 4, rue de Buci, 1857.

- ЩЗ-2 «Цветы Зла», 2-е издание: LES ||**FLEURS DU MAL**||par||CHARLES BAUDELAIRE / Seconde édition augmentée de trente-cinq poëmes nouveaux et ornée d'un portrait de l'auteur dessiné et gravé par Bracquemond. − Paris: Poulet-Malassis et de Broise, éditeurs, 97, rue de Richelieu et passage Mirès, 36, 1861.
- ЦЗ-3 «Цветы Зла», 3-е издание: Bibliothèque contemporaine || CHARLES BAUDELAIRE || Oeuvres complètes || I || LES || FLEURS DU MAL || édition définitive précédée d'une notice par Théophile Gautier, et ornée d'un beau portrait gravé sur acier. Paris: Michel Lévy frères, éditeurs, rue Vivienne, 2 bis, et boulevard des Italiens, 15, à la Librairie Nouvelle, 1869.
- Chabanne 2002 Chabanne M.-P. Mâle Michel-Ange: le paradoxe de *l'Idéal* // Masculin/féminin dans la poésie et les poétiques du XIXe siècle / Sous la dir. de C. Planté. Lyon: Presses universitaires de Lyon. P. 235–246. Мильчиной. М.: Искусство, 1986.
- Crépet, Blin 1942 *Crépet J., Blin G.* Notes critiques // *Baudelaire C.* Les Fleurs du Mal / Texte de la seconde éd. suivi des pièces supprimées en 1857 et des additions de 1868 / Éd. critique établie par J. Crépet et G. Blin. Paris: Corti, 1942.
- Crouzet 1983 *Crouzet M.* La poétique de Stendhal: forme et société, le sublime. Paris: Flammarion. P. 179–181.
- Gautier 1966 *Gautier T.* Mademoiselle de Maupin / Chronologie et introd. par G. van den Bogaert. Paris: Garnier-Flammarion.

- Gavarni 1846 *Gavarni*. Oeuvres choisies / Revues, corrigées et nouvellement classées par l'Auteur. Études de moeurs contemporaines: Le Carnaval à Paris. Paris le matin. Les étudiants de Paris. Paris: Hetzel, Warnod et Cie.
- Hemmings 1961 *Hemmings F.W.J.* Baudelaire, Stendhal, Michel-Ange et Lady Macbeth // Stendhal-Club. № 3. P. 85–98.
- Laforgue 2000 *Laforgue P.* Stendhal, Shakespeare, Baudelaire et le rouge idéal // *Laforgue P.* Ut pictura poesis: Baudelaire, la peinture et le romantisme. Lyon: Presses universitaires de Lyon. P. 43–52.
- MA журнал «Le Messager de l'Assemblée».
- OC *Baudelaire*. Oeuvres complètes / Texte établi, présenté et annoté par C. Pichois / In 2 vol. Paris: Gallimard, 1975–1976 («Bibliothèque de la Pléiade»).
- Poulet 1966 *Poulet G.* Nerval, Gautier et la blonde aux yeux noirs // Poulet G. Trois essais de mythologie romantique. Paris: Corti. P. 83–134.
- Sainte-Beuve 1869 *Sainte-Beuve C.-A.* Portraits contemporains. T. 2. Paris: Lévy.
- Starobinski 1981 *Starobinski J.* Sur la chlorose // Romantisme. Vol. 11. No 31. P. 113–130.



Вера Мильчина

Дорогой Лене с пожеланием лично убедиться, что магазины Парижа по-прежнему прекрасны

КАК И ЧЕМ ТОРГОВАЛИ В ПАРИЖЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Весь Париж – лавка: все первые этажи домов в магазинах. Где бы вы ни поселились, у вас везде почти все под рукою, не только необходимое, но даже предметы роскоши.

Е.А. Боратынский. Письмо к матери от первой половины декабря 1843 г.

Любопытнейшую сторону парижской жизни представляют в эту минуту, без сомнения, новые произведения промышленности, выставленные магазинами. Целую неделю ходил я по лавкам и признаюсь, давно не испытывал такого удовольствия, как в этом изучении тайной мысли, двигающей современную производительность.

П.В. Анненков. Парижские письма

История организации торговли в Париже в XIX веке – это история постепенного вытеснения

мелких, уличных торговцев крупными торговыми предприятиями.

Еще в 1830 году автор «Нового путеводителя по Парижу» Ф.-М. Маршан¹ брался без труда доказать, что в Париже можно провести целый день *на улице*, не имея недостатка ни в пище телесной, ни в пище духовной.

«Начните прогулку в шесть утра. Сначала взору вашему предстанут молочницы, которые так увлечены обсуждением последних сплетен с соседками, что даже не замечают, как сметана у них превращается в скверное молоко, а молоко - в белую водичку; [...] вам попадутся на глаза водоносы, которые порой тащат или везут по улицам бочку, порой же шествуют медленным и ровным шагом, неся в каждой руке по ведру воды, и либо предлагают свой мутный товар первым встречным, либо относят его постоянным клиентам. Наконец, вам попадутся на глаза комиссионеры, которые, устроившись подле деревянных рам, служащих им и средством для переноса товара, и постелью для сна, ожидают, когда им поручат отнести сверток или письмо, распилить доску, расставить бутылки, перенести с одной квартиры на другую немудреный скарб бедного художника или, наконец, почистить башмаки тем прохожим, которые не гнушаются французской ваксой. Затем появляются разносчики со своим товаром и, крича

¹ *Marchand F.-M.* Le nouveau conducteur de l'étranger à Paris en 1830. Paris, 1830.

во весь голос, предлагают, смотря по сезону, кто груши, а кто вишни, кто виноград, а кто артишоки, кто кресс-салат, а кто устриц, кто сливочное масло, а кто корм для птиц, кто мидий и селедку, а кто грецкие орехи. Вскоре открывает свою лавочку холодный сапожник и, распевая песни греческих пастухов, принимается прибивать каблуки к старым башмакам и ставить набойки на старые сапоги. Общественный писарь усаживается писать под диктовку своих клиентов: девица Франсуаза желает узнать, как поживает земляк, обещавший на ней жениться, а солдат хочет сообщить родителям, что он болен и нуждается в деньгах. Штопальщица устраивается в большой бочке, заменяющей ей лавку, и принимается починять пару крапчатых чулок.

Стрелки часов бегут, и на парижской мостовой становится все более и более многолюдно; здесь можно отыскать все, что потребно человеку. Вы хотите позавтракать на скорую руку? На набережной подле парапета к вашим услугам накрыт стол; на нем ослепительно белый хлеб и благоухающие сосиски на раскаленной сковородке. Вы боитесь острых блюд? Тогда заплатите два су владелице цилиндрического сосуда, и она нальет вам чашку кофе со сливками и сахаром.

Теперь, подкрепившись, вы можете заняться полезными делами: сколько диковин вы можете увидеть! сколько вещей приобрести! сколько удовольствий вкусить! Быть может, вы поэт и желаете углубить свои познания во французском языке? – к вашим услугам преподаватель грамматики,

который охотно прочтет вам лекцию на свежем воздухе. Быть может, вы любите читать? к вашим услугам букинист, который позволит вам листать все свои книги, сколько вам вздумается; да что там букинист, на стенах домов вы можете прочесть сотню афишек в самом разном стиле и цвете, посвященных самым разнообразным темам. А может быть, вас интересует политика - тогда ступайте вон под тот зонтик, и там за несколько су вы узнаете все, что происходит в Персии и в Лиссабоне, в Константинополе и в Перу. Вы любите пение? вот двое певцов, г-н Дюверни и г-н Кадо, голоса их звучат сладко и нежно, а держатся они ничуть не менее уверенно, чем самые прославленные исполнители! Вы больше любите инструментальную музыку - послушайте вот этих неаполитанцев, им недостает только большого и малого барабана, китайской беседки и шести тромбонов, чтобы исполнять музыку г-на Россини. Вы предпочитаете слушать пение с аккомпанементом? и это желание легко исполнить: вон там слепой толстяк недурно играет на скрипке, а жена его поет более чем приятным голосом, а поодаль другой господин, чьи глаза скрыты от света зонтиком, поет, аккомпанируя сам себе на арфе. Из листка бумаги, прикрепленного к инструменту, вы узнаете, что арфист - сын барона де..., и сможете вообразить, что попали в великосветскую гостиную. Вам больше по душе занимательная физика? полюбуйтесь на храбреца, который вонзает шпагу себе в глотку с тем же спокойствием, с каким ребенок сосет леденец. Вы платили немалые деньги за посещение театра «Варьете»? Зачем? вот целое

семейство, которое бесплатно танцует на ходулях, а вот марионетки: полишинель, и кот, и полицейский комиссар – разве они не забавны? мне случалось видеть на сценах больших театров представления куда менее увлекательные. А рядом юные гимнасты, расстелив прямо на земле старое одеяло, демонстрируют чудеса гибкости пришедшим поглазеть на них кухаркам, солдатам и рабочим.

Прогуливаясь по парижским улицам, нетрудно совместить приятное с полезным. Нас ожидают многочисленные торговцы, которые торгуют сво-им товаром на свежем воздухе и не платят арендной платы никому, кроме префекта полиции. У них можно купить тысячу вещей – как необходимых, так и излишних. Один продаст вам за 35 су пару бритв, другой предложит носовые платки по 4 су за штуку², третий – пестрый жилет за 39 су, а так-

же галстуки, воротнички, перчатки, пояса самых разных фасонов; и мужчины, и женщины могут полностью обновить свой гардероб, прогуливаясь по парижским улицам. На этом базаре под открытым небом можно купить даже драгоценности; я готов сию минуту свести вас с бродячим ювелиром, который за б су снабдит вас парой сережек и парой колец, а в придачу даст вам футляр для ваших приобретений. Если же вы нетвердо стоите на ногах или желаете иметь более грозный вид, купите трость вон у той дамы; главное – избегайте торговцев, вокруг которых толпится слишком много народу: в этой толпе вы можете лишиться кошелька.

[...] Вы проголодались? Что ж, пообедаем, но вначале купим букетик фиалок у милой и свежей крестьяночки, чьи волосы убраны под красную косынку; конечно, на бульварах вы найдете цветочниц более бойких, а на рынке – более речистых, но мне по сердцу эта простушка.

Букетик вставлен в петлицу? превосходно; значит, вы готовы сделать заказ. Супу я вам не предлагаю, суп нынче не в моде; а вот десяток устриц прекрасно возбудят аппетит; устроимся перед входом вот в этот кабачок. [...] Для начала отведаем вот здесь холодного мяса — это будет наше первое блюдом; затем отправимся по соседству за копченой селедкой — это будет наше второе блюдо, а затем наступит очередь картошки, поджа-

²В эпоху Реставрации и Июльской монархии во Франции имели хождение серебряные монеты в 5 франков, 2 франка, 1 франк, 0,50 франка (50 сантимов) и 0,25 франка (25 сантимов) и 0, 05 франка (5 сантимов). Существовали также золотые монеты в 20 и 40 франков, но они постепенно исчезали из обращения. Франк приблизительно соответствовал той денежной единице, которая при старом порядке именовалась "ливром" и была упразднена во время Французской революции; в память об этой системе счета в первой половине XIX века крупные суммы по старинке исчислялись в ливрах. Вместе с ливрами были упразднены также такие мелкие монеты, как "су", однако в повседневном быту французы хранили верность старым денежным единицам, и говорили

о 5-сантимовых медных монетах – монета в 1 су, о серебряных монетах в 1 франк – монета в 20 су, а о серебряных монетах в 5 франков – монета в 100 су.

ренной на сковородке, – это жаркое послужит нам переходом к десерту. С самим же десертом трудностей не возникнет и подавно. Кругом полнымполно фруктов, а почтенные жители Оверни охотно поджарят для вас каштаны.

Неужели тому, кто обедает на улицах Парижа, суждено есть, но не пить? Ничуть не бывало. Вина я вам, по правде сказать, не предложу, потому что его продают лишь в лавках и кабаках, ибо иначе чиновники министерства финансов не смогут взимать с каждой бутылки причитающийся им налог; но я предложу вам напиток куда более целебный - лакричную настойку; можете пить ее, сколько вашей душе угодно, если, конечно, душе вашей не милее напиток лимонный или черносмородинный. Конечно, мы можем зайти в ближайшую лавочку и спросить там бутылку доброго старого Бордо, но для этого нам придется хоть на минуту покинуть парижскую улицу, а ведь я желал доказать, что на улице этой можно удовлетворить все мыслимые потребности и доставить себе все мыслимые удовольствия.

Итак, трапеза окончена? – Да. – Вы уверены? а если я скажу вам, что теперь пришла пора выпить пуншу? – Но ведь для этого придется зайти кафе. – Вовсе нет, мы выпьем пуншу на улице, как утром выпили кофе со сливками, и за те же деньги. Желаете зубочистку? вот она; полагаю, больше вы уже ни в чем не испытываете нужды. [...]

Вот уже фонари начали освещать парижские улицы своим печальным светом; мелкий торговец зажег свою масляную лампу, а торговцы, подви-

зающиеся на парижских улицах, – сальные свечи; у дверей кафе вспыхнул газ в хрустальных шарах. Те из уличных продавцов, кто не покидает парижских мостовых и ночью, принялись зазывать покупателей еще громче. Их главная цель – собрать вокруг себя побольше народу. [...]

Театральные представления подходят к концу; прекращается и торговля контрамарками, но комиссионеры, стоящие на дежурстве возле "своих" театров, получают новую возможность заработать: они пригоняют к дверям театра экипажи, закрывают дверцы, с помощью специального коврика оберегают от грязи подол дамских платьев.

Улицы пустеют; впрочем, разносчики вечерних газет все еще надеются отыскать охотников до своего товара: биржевых маклеров, которые желают узнать курс ренты, ораторов, которым хочется узнать вечером отклики на свою утреннюю речь, водевилистов, которые мечтают убедиться, что их пьесу завтра дают на театре. Не покидают улиц и те комиссионеры, которые поджидают удачливых игроков, чтобы проводить их до дома с фонарем или, если льет дождь, с зонтом. Ветошники роются в отбросах, ища себе поживу, до тех пор пока усталость не берет верх и они не засыпают на обочине. Пьянчужки выходят из кабаков и либо, покачиваясь и спотыкаясь, отправляются по домам, либо, продолжая потягивать вино, устраиваются на ночлег прямо на улице. Патрули обходят город, и порой какой-нибудь полицейский отворяет двери кафе, чтобы угостить там своих подчиненных. Наконец наступает полная тишина; кажется, что

на парижских улицах не осталось ни души; однако стоит подойти поближе к рынку, и мы увидим крестьян, которые везут туда продовольствие на телегах, на ослах, на лошадях или несут в заплечных корзинах, чтобы, лишь только рассветет, начать торговлю».

Торговля под открытым небом практически в любой точке города воспринималась современниками как явление сугубо парижское, которое способен оценить по достоинству только парижанин – человек, живущий на свежем воздухе и охотно пользующийся всем ассортиментом мелких торговцев. Эту «выставку товаров» можно было осматривать прагматически, с целью чтонибудь купить, а можно было любоваться ею совершенно бескорыстно.

Не случайно именно в Париже родилось (и осталось сугубо парижским) такое искусство, как фланирование. Так называлось передвижение по городу без какой-либо практической цели, исключительно ради удовольствия смотреть по сторонам. Бальзак в одном из первых своих произведений, «Физиологии брака» (1829), дал определение этому искусству прогуливаться по Парижу:

«Большинство людей ходят по улицам Парижа так же, как едят и живут – бездумно. На свете мало талантливых музыкантов, опытных физиогномистов, умеющих распознать, в каком ключе написаны эти разрозненные мелодии, какая

страсть за ними скрывается. О, эти блуждания по Парижу, сколько очарования и волшебства вносят они в жизнь! Фланировать – целая наука, фланирование услаждает взоры художника, как трапеза услаждает вкус чревоугодника. Гулять – значит прозябать, фланировать – значит жить. [...] Фланировать – значит наслаждаться, запоминать острые слова, восхищаться величественными картинами несчастья, любви, радости, идеальными или карикатурными портретами; это значит погружать взгляд в глубину тысячи сердец; для юноши фланировать – значит всего желать и всем овладевать; для старца – жить жизнью юношей, проникаться их страстями»³.

Прогуливались по парижским улицам отнюдь не только богатые молодые щеголи. Секретарь русского посольства в Париже Виктор Балабин описывает Париж, каким он предстал ему летом 1842 года:

«Погода прекрасная, солнце печет, жара невыносимая, сухость чудовищная. Весь Париж, от подвала до чердака, высыпал на улицу: и продавщица Эжени, и модистка Розали, и прачка мадемуазель Роза, и девица сомнительной добродетели мадемуазель Эвлалия, и стряпчий г-н Жюль, и старый эмигрант г-н де Габриак, и выскочка Жобар,

³ Бальзак О. де. Физиология брака. Патология общественной жизни. М., 1995. С. 28.

а также булочник, портной, сапожник, каретник, торговец духами и торговец швейным товаром, путешественник и депутат, пэр Франции и секретарь посольства – все фланируют, прогуливаются, шатаются по улицам и не делают ровно ничего»⁴.

Впрочем, относя модисток и сапожников к числу фланёров, Балабин был чересчур снисходителен; более разборчивые авторы той эпохи противопоставляли фланёрам ротозеев. Ротозеи слоняются по городу бездумно; они глазеют, но не наблюдают; в отличие от них фланёры – это, можно сказать, странствующие философы, читающие город, как книгу. «Фланёр относится к ротозею так же, как гурман к обжоре, как великая мадемуазель Марс к уличной певичке, а Лабрюйер или Бальзак к овернскому или лимузенскому крестьянину, только вчера приехавшему в Париж», – пишет Огюст де Лакруа в очерке «Фланёр», включенном в сборник «Французы, нарисованные ими самими»⁵.

Улицы Парижа в первой половине XIX века были одинаково хорошо приспособлены и для любителей торговли, и для любителей фланирования. Больше того, с начала XIX века в Париже

появились специальные места, предназначеные для удовлетворения интересов и тех, и других.

Это пассажи – крытые проходы, соединяющие две параллельные улицы, - были специфически парижской формой градостроительства⁶. Они появились в Париже на рубеже веков: первый пассаж, Каирский, был построен в 1799 году, за ним в 1800 году последовал пассаж Панорам. Однако основной расцвет «пассажестроительства» приходится именно на эпоху Реставрации, когда были построены: пассаж Оперы (1822), Вивьенова галерея (1823), пассажи Нового моста (1823), Большого оленя (1825), Дофина (1825), Шуазеля (1825), галереи Веро-Дода (1826) и Кольбера (1826), пассажи Мостика (1826), Лосося (1827), Аббатовой деревушки (1828), Бради (1828), Святой Анны (1829). Перечисленные пассажи представляли собой крытые галереи, в которых по обеим сторонам располагались только кафе и магазины. Кроме них, существовали и пассажи, крытые лишь частично, но также предназначенные исключительно для пешеходов и для торговли. Примером может служить

 $^{^4}$ Balabine V. Journal. Paris, 1914. Р. 6 (запись от 19 июня).

⁵Les Français peints par eux-mêmes. Paris, 2004. T. 2. P. 153.

⁶ О пассажах как форме воплощения утопических построений Ш. Фурье, см.: *Беньямин В.* Произведение искуссства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996. С. 141–145; *Benjamin W.* Paris, capitale du XIX siècle. Le livres des passages. Paris, 1993. P. 67–87.

Торговый двор (между улицей Святого Андрея и улицей Медицинской школы), а также пассаж Соседа (Saucède) – между улицами Сен-Дени и Аббатовой деревушки. По некоторым подсчетам, в эпоху Реставрации в Париже насчитывалось около 130 пассажей⁷.

Самый знаменитый, но при этом вполне типичный парижской пассаж 1820-х годов подробно описан в книге Λ . Монтиньи «Провинциал в Париже»⁸:

«Пассаж Панорам – самый посещаемый из всех пассажей, устроенных ловкими спекуляторами; ему, кажется, покровительствует сам бог торговли.

Войдем в помещение этого роскошного базара с Монмартрского бульвара и пройдемся для начала по его левой стороне. Первым нашему взору предстанет кафе Верона, весь вид которого (особенность, на которую нелишне обратить внимание) удовлетворяет требованиям хорошего вкуса. Посетители неизменно выходят из этого прекрасного кафе совершенно довольными. [...]

Сразу следом за кафе Верона располагается кондитерский магазин под названием "Герцогиня Курляндская"; здесь в витрине выставлены сла-

дости всех сортов; здесь в любое время года и особенно во время больших холодов взор прохожих радуют прекраснейшие фрукты; здесь под стеклянным колпаком вдруг замечаешь с изумлением смородину и персики, вишни и виноград; сахар, как новый Протей, принимает здесь все возможные формы и окрашивается во все возможные цвета. [...] За кондитерской вас ждут витрины, где блеск стали соперничает со сверканием золота, так что вещицы, сделанные из одного только этого драгоценного металла, кажутся бледными и тусклыми; впрочем, очаровательны и они! Дамы застывают перед витринами, исполненные восторга.

Не будем надолго задерживаться перед лавками сапожника и перчаточника: ведь нас ждет швейцарец, торгующий писчебумажным товаром. Если вы не знаете точно, за чем пришли, глаза у вас непременно разбегутся. Механические экраны, прелестные безделушки, шкатулки, чернильницы, пюпитры с секретом, ящички для визитных карточек... [...]

Дальше нашему взору предстанут соломенные шляпки г-жи Лапостоль и хорошенькие особы, которые ими торгуют. За ними располагаются владения ювелира г-на Базена, за ними лавка под названием "Мать семейства", затем перчаточник, затем магазин "Мамелюк", и наконец "Немецкая хижина", где торгуют шляпками и духами. Мы уже почти подошли к полутемному проходу, ведущему к театру "Варьете"; пропустим скромную лавочку ничем не примечательного торговца лор-

⁷См.: Bonnier L. Les Passages couverts. Paris, 1916; Bertier de Sauvigny G. de. Nouvelles histoire de Paris. La Restauration, 1815–1830. Paris, 1977. P. 56.

 $^{^8\,}Montigny\,L.$ Le Provincial à Paris. Paris, 1825. T. 1. P. 158–171.



Пассаж Панорам



Пассаж Кольбера. Худ. О. Пюжен, 1831

нетами и полюбуемся на витрину чайного магазина Маркиза; здесь к нашим услугам не только чай, но и шоколад в самых невероятных обличиях, и трюфели, испускающие дивный аромат, который не оставил бы равнодушным даже министра.

За магазином Маркиза следуют заведения портного, торговки бельем и продавца обоев; какие восхитительные краски, какие превосходные каминные экраны с изображением исторических сцен и героических подвигов наших соотечественников! А по соседству продается кофеварка Мориза – хитроумное устройство, позволяющее приготовить кофе так, чтобы он не утратил своего божественного аромата. Курильщики могут задержаться в кабачке, а мы последуем дальше и остановимся перед витриной Фрера – того, что издает ноты и ими торгует; вам надобно любовников и воздыхателей, амуров и трубадуров? Здесь вам их предоставят с большой охотой. [...]

В самом конце левой стороны пассажа нас ждут сапожник, парикмахер и портной. От них всякий выйдет неотразимым – лишь бы хватило денег, чтобы им заплатить.

Итак, мы осмотрели левую сторону одного из самых живописных пассажей нашей столицы; вернемся назад по правой стороне, которая также имеет свои достоинства.

Самая первая лавочка, принадлежащая ювелиру г-ну Фабри, не заслуживает особенного внимания; она отстала от моды примерно на полвека;

хуже того, здесь еще не ввели газовое освещение⁹. Вообще следует с прискорбием признать, что правая сторона пассажа Панорам несколько уступает левой в том, что касается освещения. Поэтому левая сторона сияет по вечерам ярчайшим светом, тогда как большая часть лавочек правой стороны скрывается в полутьме, ибо освещаются они по старинке. Помещение, сдающееся внаем, большая редкость в этом блестящем пассаже; и тем не менее с правой стороны встречается и такое. Другое дело – перчаточный магазин и лавка, где торгуют ремнями; оба идут вровень с веком и заслуживают самых добрых отзывов. Рядом, разумеется, тру-

9 Первые образцы газовых фонарей появились еще в середине 1800-х годов, но реально такие фонари начали применять лишь в конце 1810-х годов. Впервые парижане увидели их в так называемом Газовом кафе (Café du gaz hydrogène) на Ратушной площади и в одном из кафе пассажа Панорам. Более или менее широко газовое освещение распространилось в Париже лишь к концу 1820-х годов. Первой городской площадью, которую осветили газовые фонари, стала Вандомская: 3 июня 1825 года здесь установили четыре светильника вокруг Вандомской колонны и два фонаря в начале улицы Кастильоне. В начале 1829 года 10 газовых фонарей появились на улице Мира, потом - на площади и улице Одеона. Частные лица освоили газовое освещение раньше, чем муниципалитет: в 1828 году в Париже было уже 5 500 абонентов газовых рожков. К их числу принадлежал и герцог Орлеанский, который ввел газовое освещение в галереях Пале-Руаяля.

дятся артисты – мастера щетки и ваксы, которые охотно вычистят вашу обувь и заодно предложат вам почитать газету. Дальше вас ожидают конфеты и сапоги, безделушки и шляпы, затем хорошенькая продавщица предложит вам апельсины и лимоны, сияющие в свете газового фонаря, за ним к вашим услугам детские игрушки и третий торговец перчатками в пассаже Панорам... А дальше хорошенькие, но чересчур дорогие зонтики, лавка ювелира, дамское белье, алебастровые бюсты и, наконец, место, где непременно стоит задержаться, - кондитерская Феликса. Здесь полным-полным англичан и англичанок, которые обожают наслаждаться вином и пирожными в этом заведении; стоит это удовольствие недешево, и другой ресторатор за те же деньги накормил бы вас настоящим обедом. И при всем том мэтр Феликс еще не отказался от масляных ламп: непостижимо, но факт: его печь отстала от века! Продолжим наш путь: вот еще один кондитер, по непонятной причине назвавший своей заведением именем Вертера; конфеты, продаваемые здесь - пожалуй, лучшие во всем пассаже. Вот "Волшебная лампа" - здесь торгуют только перчатками, но зато продавщицы все как одна очаровательны!.. Вот магазин бронзовых и позолоченных изделий! вот пленительные ткани и превосходные сукна, вот торговец шляпами, и вот, наконец, тем самые панорамы, которым пассаж обязан своим названием, и большой модный магазин, на вывеске которого значится "Затмение"».

По определению другого литератора, Амедея Кермеля, парижские пассажи представляли собой «землю обетованную для всех, кто не имеет собственной челяди, ибо не любит иметь дело со слугами, для всех, кто ходит только пешком, ибо не любит ездить в экипажах, и наконец, для всех, кто любит экономить не деньги, но время, – а таких людей в Париже множество»¹⁰. В самом деле, человек, нанявший себе квартиру вблизи пассажа, мог и позавтракать, и пообедать, и полакомиться сладостями, и познакомиться с прессой, и полюбоваться на новейшие карикатуры и эстампы, и развлечься, – и все это в двух шагах от дома. Ассортимент во всех пассажах был примерно одинаковый, тем не менее у каждого пассажа были свои отличительные черты и свои особые «приманки».

Пассаж Оперы начинался на месте нынешнего дома 12 по бульвару Итальянцев. Он состоял из двух параллельных галерей (галереи Барометра и галереи Часов), которые соединяли бульвар с Оперой, или Королевской академией музыки, на улице Ле Пелетье. В пассаже Оперы всегда можно было встретить знаменитых актеров, а по субботам, в дни балов-маскарадов в Опере – людей в масках и театральных костюмах.

В лавках Вивьенового пассажа (или Вивьеновой галереи) покупателей ожидали изделия извест-

¹⁰ Kermel A. Les Passages // Paris, ou le Livres des Cent et un. Paris, 1833. T. 10. P. 50.

ных мастеров – портных, сапожников, оптиков, шляпников, стекольщиков и проч.

Галерея Веро-Дода получила свое название в честь построивших ее двух колбасников. Она славилась тем, что в ней сразу было введено газовое освещение; кроме того, здесь с начала 1830-х годов располагались редакции двух самых знаменитых иллюстрированных сатирических изданий эпохи Июльской монархии – газет «Карикатура» и «Шаривари». Наконец, пассажиры дилижансов направлялись по галерее Веро-Дода на улицу Булуа, где располагалась контора «Всеобщей французской почты».

В пассаже Шуазеля к услугам парижан имелись два кафе (около обоих входов), ресторан «У великого гастронома», модные лавки и кабинеты для чтения. Кроме того, сюда перебрался (из пассажа Панорам) «магический театр» физика и чревовещателя Луи Конта, где сам владелец показывал фокусы, а юные актеры играли в нравоучительных пьесках; с 1855 года в том же здании начал работать (и работает по сей день) театр «Буфф-Паризьен».

Каирский пассаж был замечателен своей длиной – 360 метров (он был вдвое длиннее пассажа Шуазеля и втрое длиннее пассажа Панорам). Однако освещен он был хуже и не отличался особо роскошными витринами; здесь преобладали лавки, торгующие игрушками и нижним бельем.

Наконец, маленькие пассажи, расположенные в районе ворот Сен-Дени (таких, как пассаж *Соседа* или пассаж *Бради*) состояли почти сплошь из кабинетов для чтения, книжных лавок, а также заведений, где книги печатались и переплетались. Здесь обстановка была еще более скромная: галереи темные и грязные, а лавки – захламленные.

Пассажи производили неизгладимое впечатление на русских путешественников. В.М. Строев описывает пассажи, или, иначе, «крытые переходы», следующим образом:

«Это длинные галереи, проходные части домов, выходящих на две улицы. Они усеяны магазинами, выставками, лавочками, и в дождь служат безопасным убежищем, заменяют зонтик. Некоторые пассажи великолепны. Самый многолюдный - passage des Panoramas [пассаж Панорам]. Тут есть все, что может понадобиться человеку: платье, сапоги, белье, шляпы, бумага, бронза, ресторатёры, кафе, даже необходимые кабинеты (cabinets inodores). Тут толпа в продолжение целого дня. Пассаж не широк; тут всегда тесно, и воры пользуются рассеянностью зевак. В других пассажах есть ротонды, залы. Владельцы домов находят свою выгоду в пассажах, потому что магазины избегают открытого неба и хотят жить под крышею, чтобы дождь не мешал покупщикам торговаться. Хитрый парижанин, знающий Париж, как свои пять пальцев, в самую ненастную погоду пройдет через пол-Парижа посредством пассажей без зонтика, и выйдет сух из воды. В этом отношении

учреждение пассажей есть истинное благодеяние для парижан, которые вовсе не носят плащей с начала марта до глубокой осени, до конца октября»¹¹.

Если одни парижане использовали заведения, устроенные в пассажах, по прямому назначению, – в магазинах покупали товары, в кафе и ресторанах ели и пили, то другие с удовольствием посещали пассажи просто для того, чтобы «поглазеть».

В 1830 году бытописатель констатировал всевластие мелкой торговли на улицах Парижа. Однако судьба ее была предрешена.

Уже в 1844 году Бальзак в очерке «Уходящий Париж» (написанном для коллективного сборника «Бес в Париже») констатирует необратимые изменения в облике парижских улиц:

«В 1813–1814 годах, в ту эпоху, когда по улицам шагали гиганты, когда друг с другом соприкасались исполинские события, можно было видеть в Париже таких ремесленников, о каких нынче никто не имеет представления. [...]

Теперь приходится рыскать по Парижу, как рыщет по полям охотник в поисках дичи, прежде чем найдешь одну из тех жалких лавчонок, которых прежде насчитывались здесь тысячи; там стоял стул, жаровня, чтобы греться, и глиняная печурка, заменяющая целую кухню; в этой лав-

чонке ширма выполняла роль витрины, а крыша состояла из куска красной парусины, прибитой гвоздями к соседней стене; справа и слева висели занавески, из-за которых прохожий видел либо торговку, продававшую телячьи легкие, мясные обрезки, всякую овощную мелочь, либо портного, наскоро чинившего заказчику платье, либо продавщицу свежей рыбешки.

Не встречаются уже красные зонты, под которыми процветали фруктовые лавочки, на смену им в большинстве городских районов явились рынки. [...] Магазин убил все виды промыслов, ютившихся под открытым небом, начиная с ящика чистильщика обуви и вплоть до лотков, которые иногда состояли из длинных досок на двух старых колесах. В свои обширные недра магазин принял и торговку рыбой, и перекупщиков, и мясника, отпускавшего обрезки мяса, и фруктовщиков, и починяльщиков, и букинистов, и целый мир мелких торговцев. Даже продавец жареных каштанов устроился у виноторговца. Редко, редко увидишь продавщицу устриц, которая сидит на стуле возле кучи раковин, спрятав руки под фартук. Бакалейщик упразднил всех торговцев, которые продавали - кто чернила, кто крысиную отраву, кто зажигалки, трут, кремни для ружей» ¹².

Бальзак отмечает, что эти перемены привели к подорожанию всех товаров:

 $^{^{11}}$ Строев В.М. Париж в 1838 и 1839 годах. СПб., 1841. Т. 1. С.57–58.

¹² Бальзак О. де. Собр. соч. в 15 т. М., 1955. Т. 15. С. 186–187; перев. Б. Грифцова.

«Знаете ли вы, во сколько обошлось это превращение? Знаете ли вы, во сколько обошлись сто тысяч парижских магазинов, если отделка некоторых из них стоила сто тысяч экю?

Вы платите полфранка за вишни, за крыжовник, за ягоды, которые прежде стоили два лиарда [один лиард равнялся четверти су, значит два лиарда – это половина су, или 2,5 сантима, а полфранка – это целых 50 сантимов].

Вы платите два франка $[40\ cy]$ за землянику, которая стоила пять су, и 30 су за виноград, стоивший $10\ cy!$

Вы платите от 4 до 5 франков за рыбку или цыпленка, которые стоили полфранка!» 13

Вместе с мелкими торговцами уходила определенная патриархальная «культура обслуживания», построенная на почти дружеском общении с каждым клиентом. Анонимный автор очерка «Париж в 1836 году» отмечает:

«Вспомнив, как мало можно выторговать у настоящего парижанина, не понимаешь, как могут существовать все эти торговцы. Всякого рода часы, шали, шелковые материи и многие другие вещи продаются по цене до чрезвычайности дешевой. Достойна удивления вежливость торговцев, их усилия приобресть постоянных покупателей и рекомендации к другим. [...] Попробуйте, подите тихонько по городу, остановитесь перед тем, что

обратит на себя ваше внимание, вас тотчас очень вежливо попросят войти в лавку, рассматривать сколько угодно, не торопясь, все товары, все вынимают из шкафов, сказывают цену и не сделают никакой гримасы, если вы уйдете, даже не купивши ничего»¹⁴.

Тот же наблюдатель описывает и такую черту парижской торговли, как специализация по кварталам:

«Чем более углубляетесь вы в середину города, тем специальнее промышленность; чем ближе подходите к заставе какой бы то ни было, тем более разного товара у одного и того же купца. Многие части города имеют еще особые специальности; например, в ученом квартале вы найдете много чучельников, мастеров, изготовляющих восковые препараты, книгопродавцев и особенно множество пирожников, очень дешево продающих свои пироги; в окрестностях Тампля преобладает торговля старой ветошью, около Вандомской площади все английские лавки, у Елисейских полей пропасть каретников и конепродавцев, наконец, со всех сторон вокруг Инвалидного дома расплодилось невероятное множество винных погребов. Конторы страховых и других обществ теснятся вокруг биржи; на одной оконечности Вольтеровской набережной все лавки книгопродавцев, на другой множество магазинов, наполненных художественными произведениями; механики живут вдоль по набережной de l'Horloge [Часовой], золотых дел ма-

¹³Там же. С. 188.

¹⁴ Московский наблюдатель. 1837. Ч. 10. С. 212.

стера теснятся по набережной des Orfèvres [Ювелиров]. В этом квартале еще почитают за славу принадлежать к старинному торговому дому»¹⁵.

На смену уличным торговцам приходили большие лавки, а лавки постепенно вытеснялись магазинами. Первый магазин готового платья, где покупателям предлагали одежду одинакового фасона, но разных размеров, открылся 25 октября 1824 года на набережной Дезе (ныне набережная Корсики). Магазин назывался «Прекрасная садовница» и имел такой успех, что в 1830 году его владелец Пьер Париссо приобрел несколько соседних домов для расширения торговых площадей; в 1856 году ему принадлежали уже целых 50 домов в одном квартале. В том же 1824 году произошло и другое важное событие в истории парижской торговли: в магазине «Честная девушка» на Монетной улице на товарах впервые появились ценники.

Новые магазины, в отличие от старинных лавок, состояли из многих отделов, порой даже занимали несколько этажей. Они торговали модными товарами – одеждой, тканями, ювелирными изделиями, и располагались в самых «фешенебельных» районах города (в первую очередь – на Бульварах). Нижние этажи домов на бульваре Итальянцев представляли собой почти непрерыв-

ную витрину, за стеклами которой были разложены предметы роскоши.

Впрочем, магазины не могли полностью вытеснить старые формы обслуживания. В модной индустрии, например, большую роль играли торговки, которые перепродавали платья, шляпы, перчатки и прочие товары, - так сказать, «ходячие магазины» платьев, шляпок, перчаток, украшений. Современникам казалось, будто у этих женщин нет «иного жилья, нежели тротуары и лестницы, по которым они расхаживают с утра до вечера с огромной корзиной, набитой вещами». Чтобы преуспеть, такая торговка должна была иметь хорошо подвешенный язык и уметь убеждать потенциальных покупательниц в том, что платье или шляпка им идет. С другой стороны, когда уличная торговка запасалась товаром, она превосходно умела сбивать цену, объясняя, что этот фасон устарел, эти цвета больше никто не носит. Например, если в полдень розовый цвет был самым модным в сезоне (потому что в эту минуту торговка продавала розовую вещь), то в четверть первого выяснялось, что розовый позавчерашний день (потому что на сей раз она розовую вещь $покупала)^{16}$.

Магазины были не единственным новшеством в организации парижской торговли; важнейшую

¹⁵ Там же. С. 214–215.

¹⁶ См.: *Fremy A.* La revendeuse à la toilette // Les Français peints par eux-mêmes. Paris, 2003. Т. 1. Р. 505.

роль в ней играли описанные выше «пассажи», а также «базары» - просторные и роскошные магазины, арабское название которых было данью «восточной» моде. Об устройстве «базара» эпохи Реставрации можно судить по облику «Большого Базара Сент-Оноре», который во второй половине 1820-х годов располагался на улице Сент-Оноре (на том месте, которое прежде занимал цирк Франкони). Просторные залы, освещенные полутора сотнями газовых рожков, вмещали около трех сотен маленьких магазинчиков (сейчас бы сказали - «палаток» или «киосков). Владелец этого «базара», богач по фамилии Беккер, сдавал свои магазинчики (за 50 франков в месяц) исключительно особам женского пола, предпочтительно - вдовам или дочерям кавалеров ордена Святого Людовика; условием аренды была торговля по фиксированным ценам.

Другой «Большой базар» располагался на бульваре Итальянцев. Он был устроен примерно также, как современные торговые центры, где продажа товаров совмещается с индустрией развлечений. Там можно было полюбоваться творениями художников в картинной галерее и творениями природы в небольшом «вивариуме», главной достопримечательностью которого была шестиметровая змея боа. Базар на бульваре Итальянцев сгорел дотла в декабре 1824 года, что было вовсе не удивительно: сочетание роскошного освеще-

ния с деревянными конструкциями не способствовало соблюдению техники безопасности. С тех пор при постройке торговых заведений стали ши роко использовать железные конструкции. Именно по этой технологии был построен базар Буффлера, выросший в самом конце 1820-х годов на углу бульвара Итальянцев и улицы Шуазеля и недаром прозванный «Железными галереями».

Торговля предметами роскоши происходила не только в пассажах и базарах, но и в магазинах, расположенных на Бульварах и в районе улицы Риволи. Ассортимент одного из таких магазинов, располагавшегося по адресу улица Кок-Сент-Оноре (ныне улица Маренго), дом 7, подробно описан в дневниковой записи А.И. Тургенева от 31 декабря 1825 года:

«Я так много наслышался об игрушках Giroux [Жиру], что наконец решился сегодня зайти в сей магазин, в котором с 10-го часа утра до позднего времени толпится лучшая и богатейшая публика. [...] Магазин сей, близ Лувра, называется "Exposition d'une variété d'objets utiles et agréables, offerts pour étrennes, sous des salons de tableaux modernes" [Выставка множества полезных и приятных предметов для подарков на Новый год, под выставкою картин современных художников].

[...] Первая комната, salon, блестит стальными производствами, серебряными, бронзовыми, амброю, кристаллами, раковинами, слоновою костью, кедром, опалами – и все сии богатства при-

роды обречены на дамские и детские изделия. Вы видите опахала, кошельки, корзинки, сувениры, баульчики, vide-poches [*шкатулки*], календари и проч., и проч.

Вторая комната вмещает другие безделки, не совсем бесполезные. Здесь любуетесь вы прекрасными ящиками для рисования, несессерами, сюрпризами. [...]

Третья комната уставлена стендами, альбумами, экранами, пюпитрами, портфелями, чернильницами во всех видах и формах, разными мелочами и припасами для дамской роскоши.

Четвертая, пятая и шестая комнаты заняты единственно детскими игрушками: куклами, военными и дамскими в многообразных костюмах.

В седьмой комнате литографические листы и гравюры, альбумы для рисования и живописи, пейзажи, картон с рисунками, видами из разных частей света и разных художников.

Восьмая комната самая великолепная, в ней лучшие произведения в бронзе, в кристалле и в опалах, лампы, presse-papiers [npecc-nanьe], gardevues [ламповые зонтики], канделябры, bougeoirs [подсвечники], vases à l'antique [вазы в античном стиле], pendules [стенные или настольные часы].

[...] Словом, магазин сей есть энциклопедия мелочной и детской роскоши. Все забавы детские нашли здесь убежище, и все придумано для тех, кои желают потешить своих любезных игрушками».

Между прочим, накануне Рождества торговля безделушками и детскими игрушками активизировалась не только в дорогих магазинах. Например, с 15 декабря по 15 января многие торговцы игрушками, пользуясь старинной привилегией, устраивались со своим товаром на Новом мосту, у подножия статуи Генриха Четвертого, и торговали там в течение этого месяца очень бойко.

Для представителей определенных сословий покупка модных вещей в Париже была не прихотью, а своего рода необходимостью. Особенно остро ощущали это иностранцы. Ф.Н. Глинка вспоминает, что, лишь только в июне 1814 года русские офицеры въехали в Париж, как им в гостиницу из Пале-Руаяля привели «человека с готовым платьем»:

«Мы купили сюртуки, круглые шляпы, чулки, башмаки, тоненькие тросточки и вмиг нарядились парижскими гражданами. Так все наши делают, ибо русский офицер в мундире встречает везде косые взгляды и тысячу неприятностей»¹⁷.

В другом месте тот же автор восклицает: «В Париже вещь теряет половину цены, если куплена не в том магазейне, который слывет модным!»

Не менее поучительны наблюдения англичанки леди Морган, оказавшейся в Париже двумя годами позже. Со снисходительным недоумением

 $^{^{17}\, \}Gamma$ линка Ф.Н. Письма русского офицера. М., 1990. С. 350.

она замечает, что легкомысленные француженки обсуждают «божественный кашемир и прелестный вышитый платочек» с не меньшим увлечением, чем важнейшие политические вопросы. Когда леди Морган призналась, что не имеет ни одной кашемировой шали, светские приятельницы-парижанки посоветовали ей потратить гонорар за книгу именно на кашемир (а не на участок земли, как собиралась она). Дамы восклицали: «Ведь кашемир, моя дорогая, это, в сущности, тоже имение!» 18

Параллельно с развитием торговли модными новинками и предметами роскоши шло и развитие их рекламы. В этой сфере, как и во многих других, парижские кварталы отличались один от другого: в «простонародных» кварталах торговцы делали ставку, прежде всего, на яркость, навязчивость торговых вывесок; в кварталах «фешенебельных» ценилась в первую очередь их элегантность.

Многие виды рекламы, кажущиеся нам спецификой сегодняшнего дня, на самом деле появились еще в 20-е годы девятнадцатого века.

Во-первых, торговцы заказывали изобретательным журналистам (или сочиняли сами) рекламные проспекты своих «патентованных средств», якобы одобренных такими высокими инстанци

ями, как Французская академия. О том, какие бездны исторической и физиологической учености обрушивали торговцы на головы своих потенциальных клиентов, можно судить по рекламе «Двойного крема султанши» и «Жидкого кармина», который Бальзак сочинил для своего героя, парфюмера Цезаря Бирото:

«Издавна в Европе и мужчины, и женщины мечтали о пасте для рук и туалетной воде для лица, которые давали бы в области косметики более блестящие результаты, чем одеколон. Посвятив долгие бдения изучению различных свойств кожного покрова у лиц обоего пола, которые, естественно, придают исключительно большое значение мягкости, эластичности, блеску и бархатистости кожи, достопочтенный господин Бирото, парфюмер, хорошо известный в Париже и за границей, изобрел вышепоименованные крем и туалетную воду, тотчас же по справедливости названные избранной публикой столицы чудесными. И действительно, наш крем и туалетная вода изумительно воздействуют на кожу и не вызывают преждевременных морщин - неизбежного последствия снадобий, изготовленных невежественными и жадными людьми и опрометчиво употребляемых всеми до сего дня. Наше открытие исходит из различия темпераментов, подразделяемых на две большие группы, на что указывает самый цвет крема и туалетной воды: розовый - для людей лимфатической конституции, белый - для людей с сангвиническим темпераментом.

¹⁸ *Morgan S.* La France. Paris, 1817. P. 1. P. 276–277.

Крем назван «Кремом султанши», ибо такой состав некогда был уже изготовлен для сераля одним арабским врачом. Он одобрен Академией на основе доклада нашего знаменитого химика Воклена, как и туалетная вода, приготовленная по тому же принципу.

Этот драгоценный крем распространяет дивное благоухание, сводит самые упорные веснушки, придает белизну любой коже и уничтожает потливость рук, на которую равно жалуются и женщины, и мужчины.

[...] Одеколон – всего лишь обыкновенные духи, не обладающие никакими полезными свойствами, тогда как «Двойной крем султанши» и «Жидкий кармин» – благотворные средства, которые воздействуют безвредно и превосходно на внутренние свойства кожных покровов; благовонный, прелестный аромат нашего крема и туалетной воды радует сердце и возбуждает ум. [...]

Во избежание подделок господин Цезарь Бирото предупреждает публику, что крем завернут в бумагу с его подписью, а на флаконах имеется клеймо»¹⁹.

Особенно знакомо звучат в этом тексте ссылка на предшествующие научные исследования и сравнение с «обыкновенными духами», которые, конечно же, по всем параметрам уступают рекламируемому продукту.

Впрочем, бальзаковский Цезарь Бирото был честным парфюмером и рекламировал товар действительно превосходный. В отличие от него, многочисленные шарлатаны в столь же выспренних выражениях навязывали публике средства совсем фантастические. Например, они обещали уничтожить «все следы возраста» всего за 22 франка: для этого клиенты должны были принять 36 ванн (три цикла по 12 ванн в каждом), причем все ванны носили имена античных нимф, например, «ванна Эвхарис» или «ванна Калипсо».

Афиш и плакатов, рекламирующих самые разнообразные товары и услуги, было в Париже великое множество. Мазье де Ом, автор «Путешествия юного грека в Париж» (1824), свидетельствует:

«В городе не осталось ни единого памятника, ни единой колоннады, ни единого общественного здания, которые не были бы обклеены афишами и плакатами все без остатка, так что печать, можно сказать, сделалась губительницей архитектуры»²⁰.

Афиши красовались даже на решетке королевского дворца Тюильри и на колоннадах перед входом в церкви. Префекты пытались бороться с этой «эпидемией» и отводить для объявлений специальные места; одно из них, на улице Богоматери

 $^{^{19}}$ Бальзак О. де. Собр. соч. в 15 т. М., 1953. Т. 8. С. 33–35; перев. М.И. Казас.

²⁰ Mazier du Heaume H. Voyage d'un jeune Grec à Paris. Paris, 1824, chap. 39; цит. по: Bertier de Sauvigny G. de. Nouvelles histoire de Paris. La Restauration, 1815–1830. Paris, 1977. P. 318.

побед, гордо именовалось «Консерваторией публичных афиш и объявлений». Однако старания префектов покончить со «стихийной» рекламой успеха не имели.

Между прочим, публичные объявления могли содержать не только коммерческую информацию. Например, в 1823 году в церкви Святого Роха, рядом с посланием архиепископа прихожанам, был вывешен листок с таким текстом: «Сто франков вознаграждения тому, кто принесет в контору на улицу Жюссьены маленькую зеленую попугаиху, которая очень четко выговаривает: "Да здравствует король!"».

Постепенно реклама товаров стала заполнять пространства не только стен, но и газетных страниц. В специальном издании «Панорама парижских новостей», выходившем в 1824–1826 годах, реклама была вплетена в светские и литературные новости. Затем ежедневные политические газеты стали отводить последнюю полосу рекламным объявлениям о новых книгах. Наконец, и другие товары получили право на рекламу даже в больших политических газетах, - таких, как оппозиционные «Конститюсьонель» и «Журналь де Деба». Наряду с ними, коммерческие объявления печатались и в тех периодических изданиях, которые специализировались только на рекламе: «Торговом Меркурии», «Парижском указателе», «Афишах Парижа и департаментов», «Общей газете афиш». В середине 1830-х годов именно публикация рекламных объявлений позволила Эмилю де Жирардену в два раза снизить цену на выпускаемую им газету «Пресса». Наконец, в 1845 году Шарлем Дюверье было открыто (на площади Биржи) первое в Париже «Генеральное общество объявлений», размещавшее рекламу в шести крупнейших еженедельных газетах.

В Париже процветала не только печатная реклама. Торговцы активно использовали и другие формы привлечения публики. Хозяева лавок выставляли образцы товаров возле входа, в магазинах тканей полотнища ярких цветов свешивались из окон, доходя до самой до земли (этот обычай возник в Париже около 1830 года). Над дверями магазинов их владельцы непременно вывешивали объявление крупными буквами – «Твердая цена», что, впрочем, вовсе не мешало приказчикам при необходимости эту цену увеличивать.

Во второй половине 1820-х годов роскошные модные магазины обзавелись широкими окнамивитринами с рамами из красного дерева или мрамора (в это время появились машины, позволявшие сравнительно легко распиливать мрамор на тонкие пластины). По ночам такие витрины освещались газовыми рожками или масляными лампами.

У торговцев в запасе было немало хитрых способов завлечь покупателей: порой они рассы-

лали по домам рекламные образцы продукции с обещанием, что если товары не понравятся, их можно будет вернуть уже на следующий день; порой организовывали распродажу товаров, якобы уцененных из-за банкротства магазина. По улицам Парижа уже в 1825 году разгуливали люди-афиши – предки современных «людей-бутербродов». Порой реклама была весьма «агрессивной»: например, посыльный делал вид, будто спит на тротуаре, широко раскинув руки; чтобы его обойти, прохожему приходилось сойти с тротуара - и ступить в грязный ручей, текущий по мостовой; обнаружив, что одежда его запачкана, пешеход не решался в таком виде двигаться дальше; тогда посыльный «просыпался» и бежал за фиакром.

Существовали и другие, чуть более тонкие формы рекламы. В магазинах повсюду валялись проспекты с названием магазина (чтобы покупатель не забыл его), перечнем многочисленных товаров и уверениями, что торговля ведется исключительно ради публики и в ее интересах. Проспекты, как и огромные мешки перед входом, были призваны создать в умах покупателей ощущение изобилия. Если в модном магазине было несколько этажей, то каждый из них работал как отдельное заведение, а значит, требовал большого штата: конторщиц, счетовода и не меньше двух десятков приказчиков.

Кстати, сам факт, что в модных магазинах Парижа клиентов обслуживают не женщины, а молодые мужчины, воспринимался во второй половине 1810-х годов как настоящая революция в торговом деле; до этого торговля предметами роскоши считалась сферой чисто женской. «Революция» эта немедленно нашла отражение на парижской сцене. К 1817 году относится эпизод, вошедший в историю французской театральной жизни под названием «война приказчиков». Дело в том, что в спектакле театра Варьете «Битва гор» (пьеса Скриба и Дюпена) среди персонажей фигурировал приказчик модной лавки г-н Коленкор (Calicot). По сюжету пьесы его принимают за военного, ибо у него имеются «черный галстук, шпоры и усы»; он появляется во всех модных местах (в Английском кафе, на Гентском бульваре), на всех прогулках, причем «на Бирже он рассуждает о музыке, в Опере - о торговле, но притом не пропускает ни одной новинки». Парижские приказчики сочли такой портрет оскорбительным, потребовали запретить пьесу, держали театр в осаде, освистывали представления - впрочем, все это лишь разжигало интерес зрителей к представлениям. Используя создавшуюся ситуацию, театр даже поставил спектакль «Кафе театра Варьете», в котором люди разных званий возмущались тем, как их изобразили драматурги. Защищая свое право на сатиру, театр иронизировал над претензиями обиженных, которые якобы требовали:

«Вы прокуроров пощадите, О стряпчих нам не говорите, О докторах прошу молчать, О фармацевтах – не писать. Стихи, красавицы, газеты – Ни слова, ни строки про это; Не смейте трогать нашу знать! А все же нравы нужно знать, Живописуйте их правдиво, Но правду сделайте красивой».

В конце концов парижские приказчики смягчились, а слово «calicot» («коленкор») вошло во французский язык как обозначение продавца из модной лавки.

Одной из форм торговой рекламы были вывески. В середине 1820-х годов было принято давать модным магазинам названия известных пьес («Железная маска», «Красная шапочка», «Весталка», «Волшебная лампа» и проч.). Современник замечает, что мало кто мог с первого раза понять, какова связь между комедией или водевилем – и магазином шелка или кашемира. В погоне за «красотами слога» и эффектностью рекламы парижские лавочники часто упускали из виду комический контраст между товаром, которым они торговали, и вывеской, красовавшейся над их лавкой. Так, над лавкой мясника на улице Сен-Дени красовал-

ся букет увядших гвоздик и надпись «На добрую память»; вывеска «Три девственницы» зазывала в мастерскую портного, шьющего военные мундиры; «Святой Августин» предлагал чистку старых перьев для шляпы; «Ангел-хранитель» был занят отправкой посылок за границу, а «Монах» сторожил вход в модную лавку. Злые языки утверждали: в лавке под названием «Святая правда» вас непременно обманут, в «Бретонской» гостинице вы обнаружите сплошь гасконцев, а если вы поселитесь в гостинице под названием «Мир и покой», знайте, что шум под окнами вам гарантирован.

В книге «Новые картины Парижа» (1828) вывескам посвящено несколько весьма выразительных страниц²¹:

«Были времена, когда зевака, прогуливавшийся по улицам и читавший вывески лавок и трактиров, мог изучить всю историю Европы и, не выезжая из Парижа, свести знакомство с целой толпой коронованных особ. Всякий, от самого могущественного государя до самого мелкого князька, мог отыскать свое изображение, намалеванное с большим или меньшим талантом, над входом в какую-нибудь лавку. Смею предположить, что даже правитель княжества Монако или синдик Же-

²¹ < *Pain G.*, *Beauregard C. de*>. Nouveaux tableaux de Paris, ou Observations sur les mœurs et usages des Parisiens au commencement de XIXe siècle. Paris, 1828. P. 92–102.

невской республики имели в ту пору честь украшать одно из парижских торговых заведений.

Сегодня подобные вывески стали большой редкостью, и я с огромным трудом отыскал торговца табаком, избравшего своим патроном Фридриха Великого. Гораздо меньше стало теперь и таких торговцев, которые избирают своими покровителями святых мучеников, хотя в прежние времена, когда религиозные убеждения господствовали в обществе, подобные вывески встречались в Париже сплошь и рядом.

Некоторые названия в Париже были одно время в такой моде, что ни в одном квартале нельзя было шагу ступить, не наткнувшись на "Пажа", "Фаншетту" или "Маленькую Нанетту". Ныне эти вывески почти полностью пропали, зато неисчерпаемым источником для названий служат театральные пьесы и романы; на вывесках нынче красуются не отдельные персонажи, а целые сцены, причем за изображение берутся не безвестные пачкуны, а художники, чьим работам впору быть выставленными в Лувре. Да и какой художник постыдится взяться за работу над вывесками, если сам Жерар не погнушался нарисовать вывеску для трактира в Монморанси, а Шарле, творец остроумных карикатур, согласился расписать стену ресторана в Медоне?»

Над дверями некоторых кафе и трактиров красовались «Марии Стюарт в темнице», «Красные шапочки» и «Солдаты-землепашцы». Владельцы других заведений ограничивались изобре-

тением остроумных названий. В ход шли и стихотворные строки, и латинские изречения, и каламбуры, обыгрывающие фамилии хозяев; например, торговец картинами по имени Пьер Легран назвал свою лавку «У Царя Пьера Леграна» (Chez le Tzar Pierre Le Grand), что в переводе означает: «У царя Петра Великого».

Некоторые торговцы имели честь быть личными поставщиками короля или членов королевской фамилии, а потому получали право помещать над входом в свои лавки огромные гербы знатных особ. Сочинители «Новых картин Парижа» по этому поводу насмешливо замечают:

«Впрочем, когда подобной чести удостаивают торговцев не королевские особы, а просто люди знатного происхождения, это не может не вызывать недоумения; например, трудно видеть без смеха украшенные гербами вывески "парикмахера князя Роган-Монбазона", "кондитера г-жи герцогини Курляндской", "мозольного оператора князя де Талейрана" и "шляпника могущественнейших европейских государей" с улицы Ришелье»²².

Культура изготовления предметов роскоши, искусно выделанных безделушек и торговли ими достигла в Париже к концу Июльской монархии такого совершенства, что проницательные наблюдатели рассуждали об этих товарах как о произ-

²² Ibid. P. 100.

ведениях искусства. Русский литератор П.В. Анненков рассказывает во втором «Парижском письме» (1847):

«Любопытнейшую сторону парижской жизни представляют в эту минуту, без сомнения, новые произведения промышленности, выставленные магазинами. Целую неделю ходил я по лавкам и признаюсь, давно не испытывал такого удовольствия, как в этом изучении тайной мысли, двигающей современную производительность. [...] В эту минуту, например, факт, что вся изобретательная способность индустрии движется воспоминаниями искусства и образа жизни восемнадцатого столетия. [...] У Дивильруа (passage Panorama) любовался я коллекцией старых опахал, роскошно обделанных в черепаху, золото и перламутр и на которых кисти учеников Вато и Буше изобразили беседу дам и кавалеров в присутствии амуров, поясняющих содержание ее, сельские праздники, даже мифологические события под деревьями, где в листьях таятся воркующие голуби. У Рого, на Монмартрском бульваре, это еще полнее. Там выставлены золотые табакерки с тончайшею живописью идиллического содержания, весьма мало закрывающего настоящую мысль сюжета, перстни, брошки и, наконец, те маленькие фарфоровые статуйки, в которых под видом пастухов и пастушек прошлый век рассказывал анекдоты из собственной жизни. Но промышленному искусству предстояла на этой реставрации недавней старины трудная работа заключить дух ее в непогрешительную чистоту линий, в художественную

форму, снять угловатость с представлений ее и умерить выражение. За этою работой промышленность нынешнего года показала талант неимоверный. В магазинах Жиру я видел дамские туалеты, рабочие столики, вазы, сервизы и бюро для письма, в которых главный мотив составляет эмаль по фарфору, прорезанная тонкими золотыми нитями и покрытая живописью, где цветы и амуры переплетаются в удивительном рисунке. С трудом можно отвести глаза, и только ярлычки с ценами 2 тысячи, 3 тысячи, 4 тысячи франков заставляют их, так сказать, войти в себя. Этот tour de force [фокис] или ловкость современной промышленности еще яснее видна в магазинах Таксана, на углу бульваров и улицы Мира. Он приготовил к новому году доброе количество ларцов, несессеров, пюпитров для письма, garde-bijoux [шкатулок для драгоценностей и проч., из которых каждый есть образец отделки и, в некотором роде, поучение плодотворное. Круглота формы, любимая восемнадцатым столетием, образовала здесь превосходный рисунок: золотые полосы вместо старой путаницы завитков разрешились в художественные арабески, и линии, подражающие старой оковке ларцов, пересекаются удивительно свободно и красиво, а живопись, сохраняя тон нежной аллегории, выдержана строго и вместе тепло. Каждая вещь в этой форме может быть принята за светлое воспоминание отжившего столетия. Смотря на нее, хочется быть богачом, а покуда не отнимут ее от глаза, страдаешь жаждой обладания»²³.

²³ Анненков П.В. Парижские письма. М., 1983. С. 91–92.

Парижские магазины могли восприниматься и как своеобразная выставка последних достижений науки и техники. А.И. Тургенев в начале 1826 года описывает посещение магазина часов и оптических инструментов:

«Видел все чудеса Брегетов. Цены разные, между золотыми и серебряными одинакового же разбора разница от 120 до 200 франков. Звон стенных часов, ландшафт с башнею представляющих, напоминает звон деревенского колокола, в отдалении. [...] Часы для Ротшильда – 2 500 франков. Но он после покражи у него миллионов почти уже отказался взять сии часы, под предлогом, что имеет уже Брегетов régulateur [часы-эталон]. Есть часы серебряные в 800, золотые в 1 100 франков, в 1 600, в 1 800. 60 франков стоит шагоисчислитель, но неудобство оного в том, что при каждом шаге надобно тронуть пальцем машинку. Один раз заводят на 10 тысяч шагов.

[...] От Брегета перешли мы к Vincent Chevalier aîné, ingénieur opticien [Венсану Шевалье старшему, инженеру-оптику], между титлами коего и то, что он первый составил ахроматический микроскоп нашего славного Эйлера. Он показал мне магазин свой оптических, физических, математических и минералогических инструментов. В числе предпоследних видел я так называемый русский компас, отличающийся точностью и удобностью своею. Венсан Шевалье изобрел и новую камеру-обскуру, которой превосходство пред другими объяснено в Бюллетене Общества поощрения [промышленности] 1823 года. Я смотрел в нее

и видел противуположный берег Сены с самыми мелкими оттенками, движение людей и кабриолетов; искусство рисования может быть доведено посредством сей машины до удивительной точности... Кроме пользы, извлекаемой из употребления сей машины для верного изображения предметов, нас окружающих, можно наслаждаться и зрелищем оживленной вокруг нас натуры, в уменьшенном виде, но со всею живостью красок и оттенков предметов, в сей машине отражающихся.

В микроскопе видел я жизнь и обращение соков в волосе, и в одной капле клея – несколько червячков, кои все двигались в оном с быстротою и, казалось, спешили насладиться жизнью на пространстве булавочной головки...»²⁴.

Отдельную, весьма специфическую форму парижской торговли составляла «торговля деньгами»: ростовщичество, учет векселей, банковские кредиты, игра на бире.

Ростовщики ссужали деньги – преимущественно мелким торговцам с Центрального рынка – под огромные проценты (до 120% в год). Порой они выдавали только часть ссужаемой суммы, а остальную предоставляли в виде каких-либо товаров, которые заемщик должен был продавать самостоятельно. Иногда ростовщики даже называли своим клиентам имена людей, готовых ку-

²⁴ *Тургенев А.И.* Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг.). М.; Л., 1964. С. 385.

пить эти товары – но за полцены; некоторые ремесленники специализировались на производстве барахла, нарочно приспособленного для таких сделок. О том, как происходили подобные сделки, можно судить по фрагменту очерка «Ростовщик» в сборнике «Французы, нарисованные ими самими» (1842):

«"Я, – говорит ростовщик, – отыскал особу, которая согласна учесть ваш вексель на особых условиях; половину эта особа выплатит деньгами, которые я заберу себе в счет тех сумм, какими я ссудил вас прежде, а вторую половину вы получите товарами, которые без труда сумеете сбыть с рук...". Сколько бы вы ни кричали, что это подлый трюк, бесчестный обман, ростовщик тотчас заткнет вам рот просьбой вернуть ту сумму, какую вы ему должны. Поскольку денег у вас нет, вам приходится покориться и принять навязываемые товары. Как правило, это шейные платки, табакерки, трубки, а порой предметы, которые сбыть гораздо труднее. Я знавал молодого человека, который получил в счет векселя щебенку, сваленную в кучу на строительной площадке... Назавтра владелец этого участка потребовал от юноши забрать щебенку как можно скорее, поскольку участок сдается внаем, и бедняге пришлось продать свое добро за полцены. Еще хуже пришлось одному денди, который однажды утром обнаружил во дворе своего особняка целый зверинец: медведей, верблюдов, обезьян и две телеги мышеловок в придачу; все это доставили ему вместо денег в счет учтенного векселя. Несчастному пришлось выстроить на бульваре Тампля барак для этих животных и нанять людей, которые показывали бы их публике за скромную цену 5 су с человека; таким образом, денди превратился в циркача... как же низко он пал!»²⁵

Очеркист 1842 года подчеркивает различия между провинциальными и парижскими ростовщиками. В провинции ростовщичеством чаще всего занимался старый буржуа, отошедший от дел; он ссужал небольшие суммы запутавшимся юнцам и не стремился афишировать свою деятельность. Напротив, столичный ростовщик – это «человек еще не старый, разъезжающий по Булонскому лесу в прелестном тильбюри, курящий дорогие сигары и обедающий в самых дорогих парижских ресторанах» Впрочем, по словам очеркиста, и этот ростовщик-вельможа не любил извещать окружающих о роде своих занятий и действовал чаще всего через посредников.

Как видим, русский поэт имел основание написать, что «весь Париж – лавка». Парижане в самом деле знали толк и в продаже, и в покупке самых разнообразных товаров – от предметов повседневного обихода до предметов роскоши.

 $^{^{25}}$ *Jousserandot L.* L'Usurier // Les Français peints par eux-mêmes. Paris, 2003. T. 1. P. 1027–1028. 26 Ibid. P. 1024.







HOMO SACER В КОНЦЛАГЕРЕ (РОБЕР АНТЕЛЬМ)

1

30-40-е годы XX века, эпоха великой войны и большого террора, когда в Германии, СССР и других странах господствовал тоталитаризм, была богата реальными проявлениями небожественного сакрального, которое наглядно показывало свою жизнеспособность, социальную эффективность и практическую применимость, в том числе и для самых чудовищных целей. В практике тоталитарных режимов оно оказывалось более чем средством (скажем, пропагандистским): однажды разбуженное в коллективной памяти, оно обретало самостоятельность и начинало направлять государственную политику, обосновывать иррациональные и жестокие авантюры. Его теоретическое и художественное исследование, развернутое в те же годы Батаем, Сартром и рядом их современников, часто принимало форму политической критики сакрального, показывая опасные потенции, которые оно способно приобретать в современном обществе. Эта критика продолжается до наших дней.

В 1990–2000-е годы Джорджо Агамбен выпустил тетралогию «Ното sacer». Ее первый том, «Суверенная власть и голая жизнь» (1995), вводит в современную философскую рефлексию древнее и странное заглавное понятие всего цикла, восходящее к римскому праву, – homo sacer. Буквально оно значит «священный человек», но на самом деле передает не высшую степень почтительности и даже не боязливую неприкосновенность, а абсолютную отверженность и беззащитность. Эмиль Бенвенист в своем лингвистическом исследовании древнейших индоевропейских институций толкует этот термин так:

Недвусмысленное и поучительное определение у Феста: homo sacer is est quem populus indicavit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed qui occidit parricidi non damnatur. Тот, кто назван sacer, несет на себе настоящее пятно, ставящее его вне человеческого общества: его обязаны избегать, но если его убьют, то не становятся убийцами. Ното sacer является для людей тем же, что и животное sacer для богов: ни тот, ни другое ничего общего не имеют с миром людей¹.

¹ Эмиль Бенвенист, Словарь индоевропейских социальных терминов, М.: Прогресс – Универс, 1995. С. 348.

Ното sacer – человек вне закона, но по сравнению с современным пониманием этого последнего выражения его состояние отличается исключенностью не только из человеческого, но и из божественного порядка вещей: такого человека можно безнаказанно убить (среди людей он никто), но и нельзя принести в жертву богам (для них он тоже чужой). Он сакрален в смысле своей абсолютной инаковости, чужеродности людям, но эта сакральность не имеет ничего общего с божественным достоинством, посвященностью богам. Агамбен определяет это состояние как «голую жизнь, то есть жизнь, годную для убийства, но не для жертвы», и сразу связывает его с проблемой небожественного, а именно политического сакрального:

...такое, по-видимому, древнейшее значение слова sacer ставит перед нами загадку до- или сверхрелигиозного сакрального, образующего первичную парадигму западноевропейского политического пространства².

Перевод Б.П. Нарумова. Перевод латинской цитаты из Секста Помпея Феста (римского грамматика II века н. э.): «homo sacer – это тот, кого назвал таким народ за некое злодеяние; ему нельзя умирать жертвенной смертью, но того, кто его убьет, не осуждают за убийство» (буквально «за отцеубийство», то есть, в более широком смысле, за убийство неприкосновенного лица).

² Giorgio Agamben, *Homo sacer 1: Le pouvoir souverain et la vie nue*, Seuil, 1997. Р. 16–17. Французский перевод Марилен Райола.

В традиционном обществе, продолжает Агамбен, есть другая фигура кроме homo sacer, тоже за рамками человечества, но бесконечно возвышенная над людьми, - это «суверен», определяемый согласно политической теории Карла Шмитта: «Суверенен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении»³, кто своей волей прекращает действие законов. Шмиттовский суверен находится в таком же отношении включения/исключения из общества, как homo sacer. В обычном состоянии он включен в законные институты власти, следует законам, но в критической ситуации может выйти за пределы этой законной системы и объявить чрезвычайное положение. Таковы, по Агамбену, активная и пассивная фигуры чрезвычайности: суверен - это тот, для кого все остальные суть homines sacri, a homo sacer - тот, для кого все люди суверенны. Эти два понятия взаимно поддерживают друг друга. Чтобы люди среднего, «законного» состояния помнили о суверенности, нужно, чтобы ктото служил для них и примером «голой жизни».

Агамбен критикует идею амбивалентности сакрального, утверждавшуюся многими разными по исходным позициям теоретиками (Робертсон Смит, Дюркгейм, Р. Отто, Фрейд). С точки зрения

³ Кара Шмитт, *Политическая теология*, М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 2000. С. 15. Перевод Ю. Коренца.

итальянского философа, эта идея – продукт ошибочной психологизации политико-религиозных процессов, тогда как истинная сущность сакрального, воплощенного в фигуре homo sacer, – не двойное полагание атрибутов (святость+скверна), а двойное исключение (и из божественной, и из человеческой юрисдикции):

Итак, состояние homo sacer по сути определяется не якобы свойственной ему амбивалентностью сакрального, а скорее особого рода двойным исключением, в которое он вовлечен, и насилием, которому он подвержен⁴.

В силу своего исключительного положения homo sacer является древнейшим воплощением *политического* – «в известном смысле очерчивает первое собственно политическое пространство, отличное как от религиозной, так и от профанной сферы, как от природного, так и от нормальноюридического порядка»⁵.

Здесь не место обсуждать в целом предлагаемую Агамбеном политическую теорию (вернее, теорию политического), но важен анализ некоторых примеров «голой жизни» в современном обществе, которые он приводит. Общество и государство XX века если и сохраняют фигуру суверена, то скрадывают ее: при современной демократии ни-

какой глава государства не имеет прав больше, чем ему дано конституцией. Зато в наши дни не просто сохраняется, но даже расширяется область бесправной «голой жизни», по отношению к которой все общество в целом не всегда осознанно, часто бессмысленно и жестоко осуществляет свою власть. Это связано с развитием и расширением того, что Мишель Фуко назвал «биополитикой» – задачей современной власти все больше становится не столько уничтожение, отсечение враждебных элементов, сколько упорядочение, нормализация жизни подданных. Государство все меньше убивает и все больше заботится о жизни людей - конечно, на свой лад, заставляя людей жить «как положено». Отсюда практики государственного воспитания граждан, лечения (а не просто изоляции) душевнобольных, дисциплинарного исправления (а не просто наказания) преступников и прочих асоциальных элементов, и т. д.; отсюда же социалистические и/или тоталитарные утопии идеальные программы полного биополитического контроля государства над жизнью общества. По мысли Агамбена, такая «политика жизни» неизбежно влечет расширение зоны исключения, куда попадают те, кто не поддается биополитическому воздействию, а потому закономерным образом оказывается вне всякого закона. Они-то и образуют в современном обществе «голую жизнь», чисто биологическую и никак не социализированную.

⁴ Giorgio Agamben, *Homo sacer 1*. P. 92.

⁵ *Ibid*. P. 94.

Философ приводит несколько примеров: коматозные больные (неопределенно долго тянущееся физиологическое существование без социальных контактов, вне социального регулирования все решения принимаются на техническом уровне, медиками); скрывающиеся от власти «люди без документов» (и не только скрывающиеся: таковы и обычные иммигранты, ждущие решения своей судьбы, – их статус не урегулирован, они не имеют социальных прав и обязанностей, пусть даже их, в отличие от древнего homo sacer, нельзя просто убить); наконец, самый чудовищный пример - заключенные в концлагерях, люди, которым отказано во всяком общественном статусе, которые не контролируются никакими правовыми инстанциями и обречены на постепенное уничтожение путем «отбраковки», словно негодные вещи или скот; они временно остаются в живых лишь постольку, поскольку используется их труд. В лагерной ситуации между охраной и заключенными существует такая же абсолютная безграничная дистанция, такое же абсолютное различие, как между сувереном и homo sacer. Крайняя степень бесправного состояния - категория так называемых «мусульман», «доходяг», людей ослабленных и опустившихся, не способных даже соблюдать распорядок, предписанный заключенным. У них не осталось инстинкта самосохранения, они пассивно терпят страдания, побои и издевательства, ожидая естественной смерти или «отбраковки». Такой человек, по Агамбену, – образцовая фигура homo sacer в XX веке: он не только другими рассматривается как отброс, но и сам себя воспринимает так. У него угасло самосознание, субъективность; в его безвозвратном падении, не-человеческом умирании заключается самый ужасный и самый фундаментальный аспект лагерной системы: все устройство концлагеря, вся его извращенная «политика» (правила, иерархии, стратегии поведения) зиждутся не на смерти как таковой, а на униженном, неопределенно длящемся существовании/умирании «мусульманина» – это тот нулевой уровень, по отношению к которому отсчитываются все другие социальные позиции⁶.

В XX веке фигура исключительного, инородного индивида претерпела катастрофическую эволюцию по сравнению, скажем, с романтическими представлениями. Отныне сакральная исключенность из общества приносит человеку не силу и не славу, не власть над ближними и даже не правобыть принесенным в жертву, послужить торжественным и жестоким средством искупления насилия – его уделом становится абсолютное бесправие, немота, угасание сознания (у коматозно-

⁶ Более подробный анализ этой фигуры дан в третьей части тетралогии Агамбена – «Что остается от Аушвица» (1998), целиком посвященной феномену нацистских концентрационных лагерей.

го больного или полумертвого «доходяги»), непригодность ни для каких человеческих отношений. Об отсутствии человеческих отношений говорил еще Жозеф де Местр в «Санкт-Петербургских вечерах», описывая положение палача как сакрального персонажа; но в наше время это состояние, во-первых, радикализируется (навязывается сознанию самого исключенного человека), во-вторых, становится уделом уже не палачей, а тех, кого они мучают и убивают.

Чтобы отстоять себя, эти люди, подвергаемые массовому исключению из упорядоченного человеческого бытия, должны отрицать свою исключительность/исключенность, искать и утверждать такие сущностные свойства человека, которые даже в ситуации его предельного унижения связывают его с другими – даже с теми, кто его унижает.

2

Среди обширной «лагерной» литературы эта проблема особенно глубоко поставлена в авто-биографической книге Робера Антельма «Род человеческий» (1947)⁷. Это единственная книга Ан-

тельма (1917–1990), который молодым поэтом участвовал во французском Сопротивлении – в одной группе со своей первой женой, в дальнейшем известной писательницей Маргерит Дюрас и с будущим президентом Франции Франсуа Миттераном. 1 июня 1944 года его арестовало гестапо, и до конца войны, почти год, он просидел в концлагерях в Германии.

К моменту ареста Антельм был верующим католиком, но в заключении его вера пережила кризис. Модель «подражания Христу», жертвенной самоидентификации с фигурой страдающего божества оказалась неприменимой в условиях лагеря. Антельм не раз возвращается к этой проблеме на протяжении своего скорбного повествования.

В страстную пятницу 1945 года рассказчик «Рода человеческого» слушает, как один из его товарищей по бараку читает Библию, и чувствует неубедительность, неуместность этой «красивой истории о сверхчеловеке». В самом деле, Христос «может говорить, и рядом с ним любящие его женщины. Его не обряжают в нелепую одежду, он красив, во всяком случае на костях у него есть молодая плоть, у него нет вшей, он может говорить что-то новое, а если над ним издеваются, то это значит, что его все-таки стараются рассматривать как личность [comme quelqu'un] [...]. Ему позволили иметь историю». Напротив того, в мире концлагерей, где детей душат «газом слов-

⁷ Более точным, но, к сожалению, требующим пояснений переводом заголовка «L'Espèce humaine» было бы «Вид человеческий» – не в смысле «человеческий облик», а в смысле «человек или человечество как биологический вид».

но крыс» и «вся земля Аушвица усеяна пеплом», муки и смерть людей не имеют «истории», не драматичны:

Здесь мертвых не выдают матери, здесь убивают и мать тоже, здесь съедают их хлеб, вырывают золотые зубы, чтобы съесть еще больше хлеба, из их тел варят мыло. Или же натягивают их кожу на абажуры для эсэсовских баб. На абажурах нет следов от гвоздей – только художественная татуировка.

«Отче, зачем ты...»

Вопли удушаемых детей. Пепел, тихо застилающий равнину 8 .

Крестные муки Иисуса не сравнимы с участью лагерника. При этом Антельм пробыл большую часть своего заключения не в лагере истребления, а в небольшом рабочем лагере Гандерсхайм при военном авиазаводе («командировке» от Бухенвальда); в этом лагере «ужас не имел гигантских масштабов [...] не было ни газовых камер, ни крематория»⁹; не было и евреев – предмета особой ненависти и презрения со стороны нацистов. Вплоть до эвакуации лагеря в апреле 1945 года эсэсовцы и их подручные никого не убивают, заключенные умирают «естественной» смертью в лазарете, от болезней и голода, и самым

страшным страданием является именно голод, медленно превращающий человека в «обритый наголо скелет»; в мае 1945 года, после освобождения, сам Антельм весил всего 35 килограммов, потеряв 45 кило за неполный год заключения¹⁰.

Точнее сказать, истощение - лишь одна, физическая сторона более общего процесса, когда у людей отрицают самое право на жизнь, вообще право на что-либо. «Нужно, чтобы тебя не было»¹¹, – эта формула несколько раз повторена в книге, кратко выражая отношение эсэсовцев к заключенным. Слова в ней следует понимать в точном философском смысле: «быть» - значит обладать сущностным, внутренне полным присутствием; а «тебя» – значит другого человека как субъекта, с которым можно общаться, которому можно сказать «ты». В лагере и то и другое отрицается, допускается лишь чисто эмпирическое, техническое существование (не бытие) безличной (не имеющей субъективности) рабочей силы, которую ничто не запрещает недокармливать и эксплуатировать на износ. Именно такое состояние Агамбен позднее назовет «голой жизнью»; и

⁸ Robert Antelme, *L'Espèce humaine*, Gallimard, 1978 (collection Tel). P. 195.

⁹ *Ibid.* P. 11.

¹⁰ Свидетельство Диониса Масколо: « Autour de Robert Antelme. Témoignages – entretiens, avec Georges Beauchamp, Marguerite Duras, Dionys Mascolo, François Mitterrand, Maurice Nadeau, Claude Roy », *Lignes*, 1994, n° 21. P. 187.

¹¹ Robert Antelme, L'Espèce humaine. P. 79.

тогда понятно, почему здесь неуместна параллель с жертвенной смертью Христа: ни homo sacer, ни заключенный концлагеря не годятся в жертву¹².

Стать мучениками удается немногим. Обычным заключенным не дано даже этого: их, конечно, постоянно избивают надзиратели и бригадиры-капо (заключенные из уголовных), но избивают почти без разбора, не отличая друг от друга. Отличиться, заслужить персональную ненависть и жестокость к себе — значит до какой-то степени уподобиться Христу, которого «все-таки пытались рассматривать как личность».

Антельм почти не рассказывает подробно об убийствах и пытках. Тем более значимо, что непосредственно перед рассказом о страстной пятнице в его книге помещен рассказ об экзекуции,

которой капо подвергли одного из узников-французов. Этот эпизод не датирован, как и большинство других эпизодов книги; он не имеет никаких причинно-следственных связей с празднованием Пасхи - то есть либо просто случайно предшествовал ему по хронологии событий, либо намеренно смонтирован с ним автором по ассоциации. Действительно, в каком-то смысле это пародия на страсти Христовы: героем-страдальцем является уголовник-«гангстер» по имени Феликс, а наказывают его за гомосексуальную связь, к которой он склонил одного из товарищей, подкормив его лишней пайкой. Тем не менее мучают его (как и его любовника) долго и жестоко: избивают, хлещут ледяной водой из шланга, заставляют поднимать огромные камни и толкают, чтобы его задавило, а он стойко все выдерживает и лишь яростно бранит своих палачей-немцев по-французски:

Против водяной струи и ударов к него был только гений своего языка [...]. Феликс извлекал из памяти все ругательства, какие знал; в ответ на струю он пускал в ход все сочетания слов, образующие самую грязную брань. Только бранью он и мог сопротивляться¹³.

Вечером, когда он, полумертвый, добредает до своего барака, один из заключенных (политиче ский, участник Сопротивления – подчеркивает Антельм) протягивает ему руку в знак солидарности.

¹² Жертвенный характер смерти Христа – вопрос спорный, и, скажем, Рене Жирар последовательно утверждает, что эта смерть имела столь великий смысл именно в силу того, что не была жертвенной (см.: René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, 1978). Не вдаваясь здесь в анализ этой проблемы, достаточно заметить, что у Жирара речь идет об истинном содержании страстей Христовых как реального исторического события (Жирар считает его таковым), а Антельм, естественно, имеет в виду традиционное прочтение евангельской легенды как рассказа о самопожертвовании богочеловека: именно с таким прочтением имеет дело современный средний христианин.

¹³ *Ibid.* P. 192.

Этот «гангстер» Феликс - вообще важная фигура среди персонажей «Рода человеческого», отчетливо индивидуализированная по сравнению с другими заключенными, и он сам дорого заплатил за эту свою индивидуальность. Подобно другим уголовникам, он мог бы стать начальником или хотя бы доносчиком - членом лагерной элиты, получая паек сверх нормы, сохраняя физическую силу и половой аппетит; но он не якшается с капо, а дополнительную еду покупает на кухне, расплачиваясь своими золотыми зубами. Кое-кто обвиняет его в том, что на воле он работал на гестапо, - он яростно отрицает, дерется, отстаивает свою «порядочность»: «...я всегда был в законе [...] я никогда никого не сдавал – никогда, понял? Потому что я настоящий человек [un homme]»¹⁴. Он прожженный, профессиональный бандит, «настоящий человек» для него значит «тот, кому плевать на чужие законы» 15, он презирает тех, кто трудится, и «было ясно, что если он вернется домой, то снова станет точно таким же, каким

был, – гангстером» ¹⁶. В то же время рассказчику-«фраеру» интересно разговаривать с этим «блатным», который наивно расспрашивает его о войне, о событиях на фронте:

«А где это – Кёльн? А где это – Краков? А сколько человек в танковой дивизии? А сколько самолетов у американцев?» Он пытался понять, что и как происходит на этой войне, раз уж он оказался ее жертвой [...]. Когда ему надоедало ломать голову, пытаясь угадать возможный момент освобождения, он вздыхал и начинал рассказывать о временах, когда он жил король-королем. Он был известен, у него были женщины [...]. Теперь он лишился этого королевского положения, но другие уголовники [...] сохраняли к нему известное уважение¹⁷.

Поведение Феликса – последовательная и потому вызывающая «известное уважение» не только у уголовников, но даже у сознательных антифашистов попытка оставаться «человеком» (это главное ценностное понятие в его лексиконе), пусть хотя бы в блатном смысле понятия, то есть стойким, непокорным, мужественным самцом. Этого достаточно для смертельного конфликта с концентрационной системой, которая в конце концов и убила Феликса. Уже после «пасхального» эпизода, тяжело раненный при новом конфликте

 $^{^{14}}$ *Ibid.* Р. 140. Слово régulier («правильный», «в законе»), много позже вспомнит и сам рассказчик в своих размышлениях о страстях господних («Пожалуй, и здесь некоторые все это принимают, понимают, находят, что все это "в законе"» – *ibid.* Р. 195); очевидно, он имеет в виду именно Феликса, об экзекуции которого рассказал чуть выше.

¹⁵ *Ibid.* P. 141.

¹⁶ *Ibid.* P. 142.

¹⁷ *Ibid.* p. 142–143.

с капо, он попал в больницу, и в таком состоянии его вместе с другими больными увели в лес на расстрел, перед эвакуацией лагеря в апреле 1945 года. Он и в последний миг сохранил непокорность - пытался убежать, его застрелили вдогон; то есть он сумел-таки сыграть до конца роль жертвы (слово в приведенной выше цитате подчеркнуто самим Антельмом), в которой система отказывает рядовым заключенным. Готовность уголовников - некоторых из них, наиболее преданных воровскому закону, - идти до конца в отстаивании своего достоинства, наперекор лагерным властям, отмечали и некоторые из бывших узников советских лагерей. Она логично вытекает из «инородного» положения таких людей в обществе, о котором писал Жорж Батай в своей статье «Психологическая структура фашизма» (1933-1934) и которое столь же логично смыкается с «инородностью» суверена; в этом смысле метафора «короля», применяемая к гангстеру Феликсу, столь же естественна, сколь и понятие «жертвы». Он не антифашист, просто он не смирился с пассивным состоянием «голой жизни», ценой собственной боли и смерти реализовал тот активный сакрально-энергетический потенциал, который заложен в буквальном значении латинского выражения homo sacer. По своему характеру он далек от Христа - скорее уж напоминает распятых вместе с ним разбойников, - но, как и евангельскому страстотерпцу, «ему позволили иметь историю», узнанную и оцененную хотя бы его товарищами по бараку, и, возможно, именно потому рассказ о его экзекуции вплотную состыкован в книге с размышлениями о муках Иисуса.

Для большинства узников концлагеря такой жертвенный, самоубийственный путь сопротивления недоступен - хотя бы потому, что он требует физической выносливости, которая у них уже непоправимо подорвана голодом. Для них, в том числе для себя самого, Антельм формулирует иную, альтернативную стратегию борьбы. Это, можно сказать, не сильный, а слабый модус сопротивления со стороны homo sacer. Суть его в том, что заключенный, цепляясь за жизнь любой ценой, именно это выживание и делает сопротивлением - борется за поддержание той самой минимальной, чисто биологической жизни, к которой его свели. «Истинная цель сражения - не умереть. Потому что каждый умерший - это победа СС»¹⁸. Такая борьба включает в себя религиозное измерение, и для «христианина», под которым автор книги подразумевает себя самого, она на время становится формой не только политической деятельности, но и духовного подвига:

Здесь политическая борьба – это сознательная борьба против смерти. И христиане в большинстве своем отвергают смерть так же яростно, как

¹⁸ *Ibid.* P. 71.

прочие. В их глазах она теряет привычный смысл. Загробный мир можно видеть и, быть может, утешаться им – но не в этой жизни с эсэсовцами, а в той, дома. Здесь влечет к себе не наслаждение, а сама жизнь. И христианин ведет себя так, словно упорствовать в жизни было святой задачей, - потому что божья тварь никогда не была так близка к тому, чтобы рассматривать сама себя как священную ценность [une valeur sacrée]. Она может упорно отвергать смерть, открыто отдавать предпочтение себе: смерть сделалась абсолютным злом, перестала быть возможным выходом к Богу. Там христианин мог надеяться обрести избавление в смерти, здесь же он может найти его только в материальном освобождении своего пленного тела. То есть в возвращении к грешной жизни, а она уже позволит ему вернуться к своему Богу и принять смерть по всем правилам.

Итак, христианин здесь заменяет Бога тварью – до тех пор, пока, освободившись, нарастив себе мяса поверх костей, он не сможет вновь обрести покорность. То есть наголо обритый, отрицаемый эсэсовцами в качестве человека, человек в христианине вынужден занять по важности место Бога¹⁹.

Ради такого подвига «упорствования в жизни» можно идти на любые унижения, совершать вещи, которые кажутся низкими и недостойными в обычной жизни. Антельм переписывает заново – уже не в эстетической теории, а в социальной практике лагерного выживания – размыш-

ления Жоржа Батая о «низком материализме», об отбросах и нечистотах, которые могут стать предметом сакрализации:

Те, кто презирает товарища, за то что тот ест очистки, выброшенные в мусорный ящик у столовой, презирают его за то, что он «не уважает себя». Они думают, что жрать очистки недостойно политзаключенного. Но многие ведь ели эти очистки. Конечно, чаще всего они не сознавали, какое величие можно найти в этом акте. Скорее они ощущали освящаемое им падение [la déchéance qu'il consacrait]. Но нет никакого падения в том, чтобы подбирать очистки, так же как нет никакого падения в жизни «низменного материалиста»-пролетария [...]. Вообще, именно через это падение проходит путь освобождения человечества²⁰.

²⁰ Ibid. Р. 101. «Низменный материалист» (« matérialiste sordide », в оригинале в кавычках) читается как цитата из Батая (статья «Низкий материализм и гнозис», Le bas matérialisme et la gnose, 1930). Робер Антельм считал положение узников концлагеря предельным, особо сильным вариантом классового угнетения. В своем эссе «Бедняк - пролетарий - депортированный» (1948) он утверждал, что «нет принципиальной разницы между "нормальным" режимом эксплуатации человека и режимом лагерным» (Lignes, 1994, n° 21. Р. 111), что статус бесправного лагерника стал ответом угнетателей на появление фигуры «пролетария», отличающегося от традиционного «бедняка» своим классовым сознанием: «Когда бедняк стал пролетарием, богач стал эсэсовцем» (ibid. Р. 110). Соответственно «депортированный» (офици-

¹⁹ *Ibid.* P. 45–46.

Настоящее падение, истинная самоутрата – это сотрудничать с эсэсовцами, стать капо или бригадиром, о которых Антельм говорит с ненавистью²¹. Если же не сотрудничать – а дисциплинарная практика нацистского концлагеря, основанная на крайнем презрении к заключенным, такого сотрудничества не требует, – то узникам нечего стыдиться. Они измождены, грязны, их одежда кишит вшами, когда их колонну гонят через городок, немецкие бюргеры смеются над этой «человеческой заразой»²², называют их «дерьмом» (типичные унизительные стереотипы, когда людей приравнивают к отталкивающим низменным субстанциям), но они борются за жизнь и тем самым не признают эсэсовского «нужно, чтобы тебя не было».

альное название заключенных, свозившихся в немецкие концлагеря из разных стран Европы) был для своих палачей не «нагим рабом», а «обращенным в рабство врагом» (*ibid*. P. 109).

²¹ И то не всегда: на первых страницах книги встречается фигура немецкого политзаключенного, который уже 11 лет, с самого прихода к власти Гитлера, сидит в Бухенвальде. Он сделался старостой барака, то есть выполняет командные функции, сотрудничает с администрацией, неизбежно соучаствует в ее жестокостях, стараясь только не совершать лишних. Хотя война явно идет к концу, он не верит в возможность освобождения, и рассказчик книги с пониманием относится к его усталому пессимизму.

²² Ibid. P. 81.

Одновременно они не признают и превосходства палачей над собой. Эсэсовцы избегают общаться напрямую с заключенными, делая это главным образом через капо; они разработали целый ритуал, когда при появлении одного из них заключенные предупреждают друг друга, торопливо принимают почтительную позу, снимают шапки, избегают глядеть ему в лицо. Они хотели бы выглядеть как существа высшей природы, ассоциироваться не с земной грязью, а с сиянием солнца:

Они спокойны, не орут. Прохаживаются вдоль колонны. Настоящие Боги. Каждая пуговица у них на мундире, каждый ноготь у них на пальце сверкает на солнце – эсэсовец так и пышет жаром. А мы для него – зараза. Мы не приближаемся к нему, не поднимаем на него глаз. Он сжигает, слепит, превращает в пыль²³.

²³ *Ibid.* Р. 27. Морис Бланшо, опираясь на философию Эмманюэля Левинаса, писал в своем разборе книги Антельма, что цель эсэсовской власти – представить себя как стихийно-природную, нечеловеческую: «Власть [в «Роде человеческом». – С.З.] хотела бы выйти за пределы власти – возвыситься до безлицых богов, говорить от имени судьбы и тем не менее господствовать как люди» (Maurice Blanchot, *L'Entretien infini*, Gallimard, 1969. Р. 193). На самом деле Левинас называл «безлицыми богами» богов *хтонических*, тогда как эсэсовцы в изображении Антельма – и в соответствии с преимущественно солярной,

И вот, не поддаваясь смерти, продолжая упрямо присутствовать рядом с этими самоуверенными «Богами», заключенные самим этим присутствием опровергают их претензии: они утверждают свое равенство, равенство всех людей как членов «рода человеческого», пусть на минимальном биологическом уровне. Об этом Антельм твердит на всем протяжении своей книги:

Когда ставят под сомнение самое твое качество человека, то это влечет за собой почти биологическое стремление утвердить свою принадлежность к роду человеческому²⁴.

Эсэсовцы не могут изменить наш биологический вид [...] они не могут – вместо того, кто скоро станет пеплом, – решить, что его нет. Они вынуждены считаться с нами, до тех пор пока мы живем, и от нас же, от нашего упорства в жизни зависит сделать так, чтобы в миг, когда они придут нас убивать, они поняли, что у них все похищено²⁵.

[...] нет разных видов человека, есть только один род человеческий. Эсэсовцы в конечном счете бессильны против нас, потому что мы люди, как и они [...] могущество палача может быть толь-

а не хтонической мифологией нацизма – претендуют сиять и лучиться солнечным жаром. Земную стихию они оставляют своим узникам – в форме грязи, «заразы», «дерьма», куда они их последовательно втаптывают.

ко могуществом человека – властью убить. Он может убить человека, но не может превратить его во что-то иное 26 .

Это парадоксальная стратегия, не только потому, что средством сопротивления становится напоминание о человечности палачей²⁷, но и потому, что сама «человечность» отделена здесь от того, что обычно называют «человеческим достоинством»; узник делает ставку не на нравствен-

²⁴ Robert Antelme, L'Espèce humaine. P. 11.

²⁵ *Ibid.* P. 79.

²⁶ Ibid. Р. 229–230, курсив мой. «Линней против Дарвина», – комментирует Клод Рабан это идеологическое утверждение Антельмом неизменности биологических видов (Claude Rabant, « Se soulever contre се qui est là... », Lignes, 1994, n° 21. Р. 146). Сара Кофман указывала на другую, более актуальную мишень антельмовской полемики: это Ницше, говоривший о незавершенности эволюции человеческого рода, о возможности превзойти ныне существующее человечество благодаря появлению высшей расы сверхлюдей (см.: Sarah Коғман, Paroles suffoquées, Galilée, 1987. Р. 66).

²⁷ «Было захватывающе странно – в ту эпоху и в том состоянии умов, где мы жили, в состоянии умов, отвергавшем эту эпоху и нацизм, – было захватывающе странно читать черным по белому, что лагерные надзиратели, эсэсовцы – люди, как и мы, что они принадлежат к одному роду с нами», – вспоминал свои первые читательские впечатления от «Рода человеческого» критик и издатель Морис Надо (*Lignes*, 1994, n° 21. Р. 190).

ный, а на биологический аспект человека – то есть именно на тот, в котором жертвы неотличимы от палачей. «Здесь речь идет именно о биологической принадлежности в строгом смысле слова [...], а не об утверждении моральной или политической солидарности [...], – комментирует книгу Антельма Джоржо Агамбен и добавляет с некоторым недоумением: – Эта задача тем более непонятна, тем более неподъемна, что она совпадает с тем, чего требуют эсэсовцы; она заставляет принять буквально лагерный закон: "не люди, а свиньи"»²⁸.

Понять эту «непонятную задачу» можно лишь в том случае, если признавать отрицаемую Агамбеном амбивалентность сакрального, так как Антельм ведет свое сопротивление именно в рамках этой парадигмы. Подобно Жоржу Батаю, он отвергает претензии нацистов на «высокую», чистую сакральность, вызывающе предъявляя «низкую», грязную, сакральность отребья и самим эсэсовцам, и добропорядочным немецким бюргерам, для которых это зрелище – словно возвращение вытесненного бессознательного. Во время эвакуации в апреле 1945 года на одном из перегонов в вагон с заключенными попадают гражданские, сытые жители провинциального немецкого городка; они тоже эвакуируются, но свободно, без

конвоя. Антельм воображает себе их ужас и отвращение при виде грязных и зловонных попутчиков в полосатых робах: «...тех, что лежат здесь, вообще не следовало бы видеть, благо вагон ведь заперт. Обычно они скрыты, но, конечно, в такие моменты [военного разгрома и отступления. – С.З.] можно наткнуться и на них»²⁹. Разумеется, никто из узников не принимает своего положения добровольно, и все-таки это их положение на каком-то уровне смыкается с положением тех, кто намеренно живет в нищете и неопрятности: религиозных аскетов, отшельников, юродивых, напоминающих благополучным господам о низости человеческого удела.

Позднее, добравшись после мучительной эвакуации до лагеря Дахау и почти сразу же освобожденные там американскими войсками, Антельм и его товарищи начнут уже по-другому применять к себе понятие «священного», восстанавливая в себе чувство собственного достоинства. «Мы больше не можем переносить, что к нам притрагиваются, мы

²⁸ Giorgio Agamben, *Ce qui reste d'Auschwitz (Homo sacer III)*, Payot&Rivages, 2003 (Petite bibliothèque). Р. 62. Французский перевод Пьера Альфери.

²⁹ Robert Antelme, *L'Espèce humaine*. P. 277–278. Последняя фраза скорее всего ненамеренно для автора, но почти дословно повторяет фрейдовскую дефиницию «жуткого», das Unheimliche, из одноименной статьи 1919 года: «нечто, что должно было бы оставаться в скрытом виде, но проявилось» (Зигмунд Фрейд, *Художник и фантазирование*, М., Республика, 1995. С. 275. Перевод Р.Ф. Додельцева.).

чувствуем себя неприкосновенными [nous nous sentons sacrés]»³⁰. Табуирование контакта – один из типичных феноменов сакрального, и слова «не тронь меня» (Иоан., 20:17), сказанные Марии Магдалине воскресшим, но еще не вознесшимся к Богу Христом, выражают характерный запрет, применяющийся в промежуточном, тревожно амбивалентном состоянии недавно умершего, еще не совсем мертвого. По мнению Жан-Люка Нанси, запрет на прикосновение к чужому телу вообще фундаментален для опыта сакрального – пожать другому человеку руку, ударить, поцеловать его представляют собой рискованно-ответственные нарушения запрета, затрагивающие интимную сущность другого:

Ряд священного можно вывести из того, что нельзя притронуться к Другому (у меня нет на это ни гражданского, ни морального права) 31 .

У Антельма «священная» неприкосновенность декларируется в подчеркнуто двусмысленной ситуации: его товарищи, освобожденные, но обессиленные, не могут выйти из барака – уже не на работу и не на поверку, а для раздачи еды! – и

возмущаются, когда назначенные еще немцами дневальные пытаются выталкивать их силой. Их вид ужасен, у них полно вшей, другие заключенные, тоже французы, сами опасаются к ним подходить: «...они не слишком приближаются: мы неприкасаемы»³². Неприкосновенные/неприкасаемые, сакральные сразу и в «высоком» и в «низком» смысле слова – таковы лагерные люди, воплощающие собой «род человеческий»³³.

Сам Робер Антельм, как он описывает себя в книге, – не «мусульманин», он не утратил себя, не опустился. Несмотря на все страдания и лишения, он до конца сохраняет самоконтроль, ясное сознание и нравственное чувство. Тем не менее самые оригинальные его размышления о «роде человеческом» относятся именно к ситуации «мусульманина». Он смыкается с позднейшей фи-

³⁰ Robert Antelme, *L'Espèce humaine*. P. 304.

 $^{^{31}}$ Валерий Подорога, Жан-Люк Нанси, «Сакральное в современном обществе» (диспут в Институте философии РАН 28 октября 2008 года), *Пушкин*, № 3, 2009. С. 88–89. Перевод В. Румянцевой.

³² Robert Antelme, *L'Espèce humaine*. P. 288.

³³В немногочисленных статьях, опубликованных им после войны, помимо книги «Род человеческий», Антельм неоднократно возвращался к мысли о «священности», неприкосновенности тех, кто страдает и угнетен: «пленный – лицо священное, так как он в чужой власти и утратил все свои шансы» (статья «Возмездие?», 1945); «делая бедняка, свою жертву, предметом культа, наделяя его священной ценностью, богатый и угнетатель мог получить возможность найти пути к спасению» (статья «Бедняк – пролетарий – депортированный», 1948). См.: Lignes, 1994, n° 21. P. 93, 105.

лософской концепцией Агамбена, подчеркивая фундаментальную для лагеря роль этого униженного, несчастного «отребья», - но только Агамбен считает эту роль конститутивной для биополитического проекта концлагерей (в основе которого - не смерть, а неопределенно тянущаяся «голая жизнь» опустившихся людей), а Антельм находит в ней сильнейший потенциал сопротивления этому проекту. Даже самый убогий «доходяга» способен, по его мысли, одним лишь индивидуальным самосознанием обрести действенную силу, превратить свою «голую жизнь» в орудие борьбы. Его стратегия парадоксальна: он не дистанцируется от унижающих его эсэсовцев, не пытается в ответ сам символически унизить их своим моральным осуждением (таков типичный жест массового сознания - «они не люди, они звери»; так поступал и истязаемый уголовник Феликс, браня «грязными» словами своих палачей), а, наоборот, сближает себя с ними, уподобляет себя им, заражает, марает их своей собственной «слишком человеческой», телесно-физической грязью. Сам он не стыдится этой грязи, в которую его ввергла неволя; оттогото подробные описания вшей, отбросов, испражнений и прочих неаппетитных вещей, которыми изобилует рассказ Антельма, суть нечто большее, чем добросовестно-«натуралистическое» описание лагерного быта, - это моральный, точнее даже сказать, антропологический вызов, бросае-

мый палачам. Узник непрестанно напоминает себе, а косвенно и им тоже: никакие вы не «Боги», не сверхчеловеки и даже не звери, что бы ни случилось, вы все равно вот такие же люди, как мы, в этом вам ничего не изменить никаким высокомерием и никакой жестокостью. Косвенным образом Робер Антельм за полвека до книги Агамбена очертил границы применимости его концепции homo sacer: эта концепция описывает ситуацию концлагерей - разумеется, сугубо критически, обличая бесчеловечность палачей, но односторонне, только в перспективе самих палачей. Это для них «голая жизнь» логически стройно описывается исключением из божественного и человеческого закона; узники же противопоставляют палаческой логике свое сознание и свое молчаливое слово.

3

Вопрос о статусе и предпосылках этого контрслова обсуждается в современной критике и способен пролить свет на природу современного внерелигиозного сакрального.

Сам Робер Антельм уже ощущал эту проблему, когда в предисловии к своей книге предвидел недоверчивые возражения: дескать, правда ли мог узник в концлагере, подавленный голодом и непосильным трудом, выстраивать такую философски разработанную стратегию духовного со-

противления, не додумана ли она задним числом, уже после освобождения? Он подчеркивал, что уже в лагере ясно ощущал, как там подвергалось испытанию и прямому отрицанию человеческое качество людей:

Когда я говорю, что человек чувствовал себя тогда отрицаемым [буквально «оспариваемым», contesté. – C.3.] в качестве человека, то это может показаться ретроспективным ощущением, объяснением задним числом. Однако именно это ощущалось и переживалось самым непосредственным и постоянным образом, и, собственно, именно этого, в точности этого, и хотели от нас добиться³⁴.

Не приходится сомневаться в правдивости этого свидетельства: да, узники ясно переживали лагерный гнет как отрицание своей собственной человечности, в этом, собственно, сходятся едва ли не все свидетельства выживших заключенных. И все же вопрос поставлен здесь лишь наполовину: а насколько достоверны, насколько возможны были в той обстановке передаваемые Антельмом развернутые размышления о «единстве человеческого вида», священном «упорствовании в жизни» – выше процитированы некоторые их образцы, а в книге они занимают еще больше места? Доступен ли узнику философский дискурс, хотя бы философский дискурс сопротивления?

Морис Бланшо в своем анализе «Рода человеческого» описывал «языковую ситуацию» концлагеря, исходя из мысли о том, что в ней исключено левинасовское предстояние «лицом к лицу»: система устроена так, чтобы не допускать ответственного, свободного диалога с Другим как субъектом, вместо этого Другой все время низводится до чисто физического состояния и физически же уничтожается абсолютным Я палачей:

Главная, истинная суть ситуации остается такова: в лагере содержится лишь бессвязное нагромождение Других людей, магма инаковости [un magma d'autrui], перед лицом могущества Я-убийцы, представляющего собой одну лишь неустанную способность убивать. Между этими Другими людьми и этим Я-Могуществом невозможно никакое языковое сообщение, но и между ними самими нет никакой возможности высказаться: здесь то, что говорится, крайне важно, но на самом деле это некому услышать; здесь нет никого (кроме мгновенных актов общения, когда человеческое «я» воскресает благодаря товариществу), кто бы мог воспринять в форме слова это бесконечное и бесконечно молчаливое присутствие иного; и тогда у каждого остается лишь одно отношение к словам - сдерживание речи, которую ему приходится переживать в одиночку и таким образом предохранять, отвергая любое лжеречевое отношение с Могущими - отношение, которое неизбежно испортило бы будущую коммуникацию³⁵.

³⁴ Robert Antelme, *L'Espèce humaine*. P. 11.

³⁵ Maurice Blanchot, L'Entretien infini. Р. 199.

В сходном смысле и Сергей Фокин, сопоставляя лагерный опыт двух писателей - Робера Антельма и Варлама Шаламова, - подчеркивал в нем опыт «молчания или своего рода косноязычия». Лагерный человек, доведенный до полуживотного состояния, «замыкается в себе, он будто прикусил язык, будто забыл все слова, во всяком случае все слова записных гуманистов [...]. Фигуры человеческого отребья, выведенные в прозе Шаламова и Антельма, лишены голоса; они если и пытаются говорить, то до окружающих доносится, как в новелле Кафки, только "голос животного"...»³⁶ На мой взгляд, точнее будет сказать, что этот человек не «забыл слова», а именно «прикусил язык», то есть сдерживает свою речь, по выражению Бланшо, не дает ей раньше времени, неэффективно вырваться наружу, а потому его голос в лагере - не регрессивный «голос животного», но именно голос человека, диалектически отрицающий себя, вернее берегущий себя на будущее, до освобождения (которое, конечно, вполне может и не наступить – ибо лагернику грозит очень вероятная смерть).

На уровне обычного, социального общения антельмовский рассказчик как будто не жалуется на невозможность говорить. В лагере он находится вместе с соотечественниками, может разговаривать с ними на родном языке, и «гений своего языка» служит ему, как и непокорному Феликсу, для сопротивления, для отмежевания от врагов: «Когда рядом со мной немец, я иногда начинаю говорить по-французски более тщательно, на родине я обычно так не говорю; я лучше выстраиваю фразу, произношу все звуковые связки, внимательно и с удовольствием, как если бы выпевал песню»³⁷. Более того, многие из этих людей являются еще и его политическими соратниками - участниками Сопротивления; они пытаются поддерживать друг друга, напоминать сами себе о долге и достоинстве сознательного бойца. Иногда они даже устраивают скромные, но важные в их положении коллективные мероприятия для укрепления морального духа: так, в пасхальное воскресенье 1945 года (Пасху празднуют и в концлагере!) они организуют «вечер отдыха» читают классические французские стихи, поют песни, а один из них обращается к остальным с речью. В ней он апеллирует к их коллективной,

³⁶ Сергей Фокин, «Варлам Шаламов и Робер Антельм: на скрещенье гуманимализма», в кн.: Понятие гуманизма: русский и французский опыт, М., издательство РГГУ, 2006. С. 85. Говоря о «прикушенном языке» лагерника, Фокин опирается, помимо прочего, на книгу Сары Кофман «Придушенные слова» (Paroles suffoquées, 1987), посвященную в значительной степени именно роману Антельма.

³⁷ *Ibid.* P. 51.

национально-патриотической идентичности: мы все французы, мы боролись за свободу своей родины, и сегодня наша родина уже свободна, скоро придут союзники и вызволят нас, надо держаться с достоинством, осталось недолго... Это, в общем, стандартная риторика ободрения, подчеркивающая общее, коллективное отличие: «мы не такие, как все, поэтому у нас есть особый долг, который следует выполнять». Но сам-то Антельм ищет другую, «общечеловеческую» стратегию борьбы; социализированное слово для него недостаточно веско, ему нужно слово до-социальное, антропологическое. В этом он продолжает и трансформирует мысль других французских гуманистов 30-40-х годов. Антуан де Сент-Экзюпери, тоже убежденный антифашист, озаглавил свою предвоенную книгу «Земля людей» и утверждал в ней «человеческую гордость», активную духовную силу человека как такового, противопоставляя его животному: «Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу»³⁸, - говорит у него летчик Гийоме, который несколько дней боролся с голодом и холодом, выбираясь из гор после аварии самолета. Антельму, находящемуся в иной экстре мальной ситуации (хотя и сходной по некоторым физическим параметрам с ситуацией Гийоме: необходимость выдерживать голод, истощение), приходится сопротивляться пассивно, с позиции не силы, а вынужденной слабости. Для обоснования такой позиции не годится риторика коллективной идентичности, варианты которой - и ободряющая речь патриота-антифашиста, и упрямое «человеческое» самоутверждение уголовника Феликса («...я всегда был в законе [...] я настоящий человек»); возможно даже, что для ее обоснования не годится вообще никакая риторика. В этом смысле Антельм не зря беспокоился, что его риторически разработанные философские размышления, включенные в рассказ о грязном и унизительном лагерном быте, могут вызвать недоверие как сформулированные задним числом: строго говоря, они действительно не могли быть сформулированы, сказаны в лагерной жизни, где по словам Бланшо, их некому было услышать, изза отсутствия настоящего Иного. Такие мысли еще можно поведать Богу, но мы уже видели: для Антельма в лагерной ситуации общение человека с Богом прекращено - как минимум на время, впредь до освобождения, до «возвращения к грешной жизни, которая уже позволит ему вернуться к своему Богу и принять смерть по всем правилам». В отличие от социализированных мыслей, опирающихся на то или иное частное культурно-

³⁸ Антуан де Сент-Экзюпери, *Южный почтовый [и другие произведения]*, М., НФ «Пушкинская библиотека», ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 171. Перевод Н. Галь.

моральное сообщество (будь то французская нация, борющаяся с фашизмом, или же блатной мир с его замкнутой этикой... или даже нацистская партия с ее идеологией расовой исключительности), эта слишком общечеловеческая мысль могла существовать в лагере лишь будучи «сдерживаемой», невысказанной, существовать лишь в самом своем несуществовании.

Несколько лет назад с серьезными соображениями о парадоксальном не-звучащем, невысказываемом слове у Антельма выступила Любовь Юргенсон³⁹. Она сравнительно мало анализирует текст «Рода человеческого» и сосредоточивается на его прагматике – на функции этого текста в освоении автором собственного лагерного опыта. Она отмечает значимый факт: в первые дни после освобождения Робером Антельмом владела почти патологическая логорея, «настоящий бред»⁴⁰; по воспоминаниям и его собственным, и его друга, писателя и актера Диониса Масколо⁴¹, он беспрестанно и беспорядочно говорил о сво-

ем лагерном опыте – возможно, боясь умереть и не успеть о нем рассказать, но еще более, может быть, в силу страстной потребности просто говорить. Морис Бланшо уже коснулся в свое время этого феномена, объясняя его долгой невысказанностью, «сдержанностью» лагерного слова, нехваткой общения с Иным:

Ясно, что для Робера Антельма, как, вероятно, и для многих других, дело было не в том, чтобы рассказывать, выступать со свидетельством, а прежде всего в том, чтобы говорить – какое же слово при этом высказывая? А вот именно то слово, где «Иной», которому нельзя было проявиться наружу во все время пребывания в лагере, единственно мог бы наконец быть выслушан и вступить в человеческое понимание⁴².

В отсутствие полноценного Другого – партнера, собеседника, друга – «сдерживаемое», молчаливое лагерное слово неизбежно принимало странную форму, для которой плохо подходит понятие «речь». Любовь Юргенсон называет такое невербальное слово «нулевым» (в отличие от «первичного» устного рассказа о лагере и «вторичной» письменной фиксации этого рассказа) и пытается реконструировать его черты, исходя из того, что высказать «нулевое» слово в «первичном рассказе», а тем более изложить его письменно, в виде «вторичной» книги – значит с необходимостью забыть

³⁹ См.: Luba Jurgenson, *L'Expérience concentrationnaire* est-elle indicible?, Éditions du Rocher, 2003. Ниже будет цитироваться не сама эта монография, а отдельная статья автора, связанная с книгой и специально посвященная «случаю Робера Антельма».

⁴⁰ Robert Antelme, L'Espèce humaine. P. 9.

⁴¹ Cm.: Dionys Mascolo, Autour d'un effort de mémoire : Sur une lettre de Robert Antelme, Maurice Nadeau, 1987.

⁴² Maurice Blanchot, L'Entretien infini. Р. 198.

изначальное слово, вытеснить или даже окончательно изгладить его из сознания. Дионис Масколо признавался, что начисто забыл слышанный им в 1945 году устный рассказ Антельма (хотя, разумеется, слушал его с огромным вниманием) и не мог сопоставить с ним прочитанную позднее книгу «Род человеческий». По мысли исследователя, тем самым Масколо симпатически повторил психический жест самого рассказчика:

То, что случилось с Масколо, должно было произойти и с Антельмом: он тоже забыл первоначальный текст. Действительно, первоначальный текст, содержавший в себе весь его опыт и плотно прилегавший к нему вплоть до слияния с ним в настоятельном желании рассказать историю – наряду с другими физическими потребностями вроде еды, питья и сна, – в принципе не мог быть сохранен, так как иначе он обеспечил бы непрерывное сохранение той самой утраты различий, которая характеризовала сознание лагерников⁴³.

Антельм объяснял в письме Дионису Масколо, что лагерный ад – это место, где все говорится сразу. Но если все говорится сразу, значит, не говорится ничего – не в силу какой-либо внешней цензуры, а просто потому, что в реальной речи мы говорим сначала об одном, потом о другом и так далее:

...кажется, я больше не знаю [после освобождения. – C.3.], что говорить, а чего нет. В аду мы говорим все, и, собственно, именно так мы, должно быть, и понимаем, что это ад; во всяком случае, мне это открылось прежде всего именно так. А в нашем мире мы привыкли выбирать, но вот я, кажется, разучился выбирать⁴⁴.

Слово, которое не-говорится, «сдерживается» в лагере и которое говорит обо всем сразу, недифференцированно по своей форме; как отмечает Л. Юргенсон, в нем разлажена, практически не действует метафорическая функция языка, функция словесной игры, свободного (нового, непривычного) обозначения вещей, ибо здесь «слово настолько близко к обозначаемой им вещи, что становится от него неотделимо». Поскольку же главный предмет, с которым работает лагерная система, - это тело узника (заключаемое в неволю, дисциплинируемое правилами и наказаниями, эксплуатируемое каторжным трудом, медленно или быстро умерщвляемое), то «в лагерях опыт не описывается, события не сопровождаются произносимым словом, но запечатлеваются в теле, которое единственно способно их воспроизводить»⁴⁵. «Нулевой» лагерный текст – это не членораздельный вербальный текст, а сплошной, непрерывный текст тела.

⁴³ Luba Jurgenson, «The case of Robert Antelme», in: Sign Systems Studies / Труды по знаковым системам. Vol. 34.2, Tartu University Press, 2006. P. 449.

⁴⁴ Dionys Mascolo, op. cit. P. 14.

⁴⁵ Luba Jurgenson, «The case of Robert Antelme». P. 450.

Как уже отмечено, и важнейшим его содержанием становится именно недифференцированность – единство человеческой природы, которую нацисты силятся разделить, рассечь на «чистых» немцев и «грязное» человеческое отребье из других рас и наций. Здесь опять приходится различать (чего, впрочем, не делает Л. Юргенсон) два уровня – социальный и антропологический. На уровне социальном лагерник Антельм стремится, вместе со своими товарищами, поддерживать различия между людьми, в этом их общая стратегия сопротивления врагу, пытающемуся превратить их в сплошную массу, в «лагерную пыль», как выражался Берия – начальник советской концлагерной системы:

...чем больше СС считает нас сведенными к неразличимости и безответственности, которые мы несомненно являем собой внешне, тем больше на самом деле наше сообщество содержит в себе различий, и тем строже соблюдаются эти различия. Лагерный человек – не отмена этих различий. Напротив, он – их действительная реализация⁴⁶.

Сознательный политзаключенный, продолжающий и в лагере политическую борьбу, отличает, отделяет себя от и уголовников, и от слабых и опустившихся, и тем более от капо и эсэсовцев (последние и сами подчеркивают свою отличность от «отребья»). Но на более глубоком антро-

пологическом уровне этот же заключенный резко переживает неразличимость людей – не ту, что пытается утвердить лагерная власть, исключая из этой неразличимости сама себя, а более общее единство всех людей, незыблемость их «почти биологической» общей природы. «Социологическую» неразличимость униженных узников он выносит как давление внешней, искусственно созданной лагерной ситуации и старается ей противиться; «антропологическую» же неразличимость человеческой природы он отстаивает как высшую истину, как последний и самый нерушимый рубеж своей обороны.

Конечно, различия между людьми – это не все различия, с какими имеет дело человеческое сознание, осмысляя и осваивая окружающий мир; но не будет ошибкой сказать, что это важнейшая, базовая часть его смысловых структур, с помощью которой интерпретируется все остальное. Таким образом, в «нулевом» лагерном тексте, который невозможно высказать словами и который не доступен нам иначе как в превращенном, радикально деформированном виде, имеется уникальное соответствие между формой и содержанием: этот текст недифференцированно говорит о недифференцированности. Такое соответствие сообщает ему глубокую, почти экстатически переживаемую убедительность для героя антельмовской книги, пока он находится внутри кон-

⁴⁶ Robert Antelme, *L'Espèce humaine*. P. 93.

центрационного мира; зато спасшийся из лагеря Антельм-рассказчик чувствует сомнение, едва ли не растерянность из-за неизбежной утраты этого соответствия, при переложении лагерного опыта на язык обычного, нормального мира — а как теперь об этом говорить? а не подменяю ли я действительно пережитое идеями, придуманными задним числом? Это и есть пресловутая невыразимость лагерного опыта, на которую жаловались и жалуются, в разных странах, многие люди, прошедшие испытание концлагерем. Антельм пишет об этом в предисловии к своей книге:

Однако с первых же дней [после освобождения. – C.3.] нам казалось невозможным преодолеть дистанцию, которую мы обнаруживали между языком, находившимся в нашем распоряжении, и опытом, который в большинстве своем мы еще продолжали переживать в своем теле [...]. Едва начав рассказывать, мы уже задыхались. То, что мы должны были сказать, нам самим начинало казаться *невообразимым*⁴⁷.

Подчеркнутое писателем слово «невообразимое» (inimaginable) как будто указывает на некую недостаточность человеческого воображения. Но выше он сам говорил о трудностях речевого, а не образного представления, так что проблема скорее в невыразимости, а еще точнее в несказуемости телесно-целостного, не развернутого в текст,

в речевой ряд «нулевого» лагерного опыта, который можно переложить в «первичный» (устный) или «вторичный» (письменный, литературный) текст лишь ценой полного забвения.

Все это имеет прямое отношение к проблеме сакрального. «Нулевой», недиффенцированно-несказуемый язык тела сходен не столько с «первичными позывами» и глубинными структурами бессознательного, которые изучаются психоанализом и которые обладают структурной организацией, хотя в деятельности сознания тоже проявляют себя в деформированном виде, - сколько с принципиально неструктурированным сакральным словом, тотализирующим в себе мир и человеческое/божественное сознание. Такое сакральное слово носит доязыковой характер, исходит из пространства абсолютной инаковости - «ада» (в котором «мы говорим все»), в нем встречаются и противоборствуют высокое и низкое сакральное, и для познавшего его оно замещает собой, на время или навсегда, веру в Бога, институциональный религиозный опыт.

Условия жизни и смерти в разных лагерях были различными, что не могло не отражаться на душевном опыте узников. Так, Джорджо Агамбен в своей книге «Что остается от Аушвица», сравнительно кратко упоминая Антельма и его «Род человеческий», использует зато в качестве одного из главных документальных источников книгу сво-

⁴⁷ *Ibid.* P. 9.

его соотечественника, поэта и прозаика Примо Леви (1919-1987). Его знаменитая книга о заключении в концлагере вышла в один год (1947) с антельмовской, имеет сходный заголовок: «Человек ли это?» и посвящена той же проблеме - истреблению человечности в узниках лагеря, которых целенаправленно доводят до нечеловеческого, дочеловеческого состояния. Леви пессимистичнее Антельма смотрит на духовную сопротивляемость людей, не пытается искать опоры в утверждении единства человеческой природы, соединяющего палачей с жертвами. Это можно объяснить обстоятельствами его судьбы: во-первых, итальянец Леви был еще и евреем, то есть находился ниже всех в иерархии лагерного «общества» 48; во-вторых, хотя он и сумел выжить, устроившись химиком на немецкий завод, но сидел он всетаки не в рабочем лагере, а в лагере уничтожения Аушвиц, где все время дымила труба крематория и регулярно происходила отбраковка, «селекция» человеческого материала. Отношения с палачами и переживание времени складывались для него иначе. В маленьком лагере Гандерсхайм, по словам Робера Антельма, эсэсовцы поневоле были «обречены жить вместе с нами [заключенными. – С.З.]»⁴⁹; в огромном Аушвице Примо Леви почти не соприкасался непосредственно с эсэсовцами (их функции выполняли заключенные-капо), и это, очевидно, не располагало к размышлениям об общей человеческой природе с ними; а временная перспектива, сулившая не неопределенномедленную, а близкую и скорую смерть в газовой камере после очередной «селекции», не оставляла даже минимума стабильности, который позволил бы выработать связный дискурс сопротивления.

Была также и внутренняя причина, определявшая различие опыта. Робер Антельм, как уже сказано, попал в лагерь верующим, а Примо Леви – нет. Французский поэт легче итальянского мобилизовал в своем сознании религиозные модели мышления, основанные на переживании сакрального. Многие бывшие узники лагерей (гитлеровских и сталинских) отмечали, что верующим людям было легче переносить выпавшие им страдания; но Антельму, чтобы их вынести, пришлось оставить прежнюю веру. Защищаясь от окружающей бесчеловечности, он выработал себе личную, импровизированную религию, где место Христа заняло обезличенное «отребье» заключенных; в известном смысле он пожертвовал Христом, пожертвовал верой в него, чтобы укрепиться на последнем рубеже духовной самообороны, где уже не допускается никакая бо-

⁴⁸ Впрочем, Антельм тоже пишет, что за отсутствием евреев в его лагере на такой низшей ступени находились французы: «...мы – человеческая зараза. У эсэсовцев здесь нет под рукой евреев. Их место занимаем мы» (Robert Antelme, *L'Espèce humaine*. P. 81).

⁴⁹ *Ibid.* P. 27.

жественная трансцендентность, а остается одна лишь упрямая имманентность человеческой природы: стратегия, вписывавшаяся в общую логику французской философской мысли XX века. Это, однако, не значит, что сакрализация человека, звучащая в его философских медитациях, которые перемежают собой описания лагерного быта, что эта сакрализация была производной или, хуже того, вырожденной формой традиционной веры в Бога. Правильнее будет считать ее сверхдетермированной: оказавшись в экстремальных обстоятельствах, которые сами по себе включали в себя сакральные, но нехристианские модели мышления (в мифологии и поведении нацистов), Антельм вернулся к изначальным, дохристианским формам, в которых переживается сакральное, а католическая вера послужила катализатором этого процесса, обеспечивая «первичный контур» религиозного опыта и указывая путь к его углублению через отрицание самого христианства.

Книга Робера Антельма лишний раз напоминает: человеческая мысль, включая осмысление столь исключительной реальности, как лагерная, формируется не в абстрактно-«нигдешнем» пространстве и времени, а в историческом опыте конкретных людей; ее результаты соотносятся с этим опытом, а следовательно сами по себе относительны. Для понимания таких относительных истин должна служить интеллектуальная история.



О ВАГНЕРЕ И ВОДОПЛАВАЮЩИХ

Помните, у Набокова в эссе о Гоголе есть пассаж о немцах и лебедях: чтобы тронуть сердце избранницы, влюбленный немец «каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед глазами своей возлюбленной, обнявши двух лебедей, нарочно им для сего приготовленных!». И, как брезгливо замечает Гоголь/Набоков, добился своего, так как дело кончилось свадьбой.

Эта сценка нередко цитируется в качестве идеального образца пошлости – по крайней мере, в понимании Набокова. С точки зрения сегодняшней эстетики перед нами не более чем описание отличного перформанса, сочетающего в себе элементы китча и пастиша. Но если отвлечься от проблемы эволюции художественных вкусов, мне кажется, что история с лебедями не столько пошла, сколько примечательно абсурдна и пото-

му имеет почти героическую окраску. Рассказчик у Набокова напирает на сексуальные обертона (немец или воображал себе «что-то античное, мифологическое или рассчитывал на что-нибудь другое»), однако плавание с лебедями больше всего походит на комически травестированное явление героя в вагнеровском «Лоэнгрине». Плеск волн, изумление толпы, и из темноты кулис, поскрипывая, выплывает лебедь, впряженный в ладью с рыцарем в сияющих доспехах.

Набоковские лебеди вспомнились мне, впрочем, не на «Лоэнгрине», а при знакомстве с другой воздухоплавательной тварью – «Летучим голландцем», поставленном в берлинской Дойче Опер летом 2008 г., и пойманном мной на излете в феврале 2010 г. Конечно, на сцене не было корабля, а все действие происходило в условном офисе, посреди которого стоял аквариум: из него, как легко догадаться искушенному зрителю, выныривал герой при первом всплеске соответствующей музыкальной темы. Над аквариумом возвышался глобус – по-видимому, для придания событиям глобального масштаба. А в остальном обычный бутафорский офис со столами, стульями и экранами мониторов (сценография Г. Якель).

Вся эта композиция с аквариумом невольно провоцировала еще одну опосредованную гоголевскую ассоциацию: описание революционной постановки «Женитьбы» в «Двенадцати стульях»

Ильфа и Петрова («Женихи были очень смешны, в особенности – Яичница. Вместо него на сцену выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом»). Наш капитан проклятого корабля (Э. Силинс) был облачен в пегую шубу, а в руки ему был дан старорежимный саквояж. Зато героиня присутствовала сразу в двух ипостасях - белокурого балетного ангела и голосистой темноволосой Сенты (М. Уль). Единство этих противоположностей подчеркивал однотипный наряд: ярко-красная короткая юбка и темный жакет (художники по костюмам С. Виллрет и M. Вегер). В первом действии, когда герой во время рассказа о договоре с дьяволом внезапно пытался покончить с собой, надев на голову пластиковый пакет, его самоубийственный жест твердо пресекал бессловесный ангел. Сама Сента, как и положено, появлялась во втором действии в окружении подруг, которые, конечно, сидели не за прялками (о чем упорно пели), а в салоне красоты. В отличие от своего белокурого альтер-эго, она проявляла склонность к некоторому капризному непокорству, отказываясь прихорашиваться вместе со всеми.

В сцене знакомства, когда Даланд представляет дочери богатого жениха, герой и героиня уже при нем начинают раздеваться. Он скидывает шубу, она – жакет; он снимает пиджак, она – юбку. Дальше начинается асимметрия, посколь-

ку героиня остается в нижней рубашке и больше ей снимать нечего, кроме туфель, а герою, помимо ботинок, надо избавиться от жилета, галстука и рубашки (под которой оказывается майка, так что приличия соблюдены). В качестве компенсаторного жеста героиня постепенно надевает на себя часть сброшенной героем одежды, прежде всего пресловутую пегую шубу. Это, конечно, заставляет на секунду предположить, что герой сейчас облечется в ее юбку, но уже заявленный принцип асимметрии позволяет ему этого не делать.

Надо отдать должное постановщику Татьяне Гюрбак: в этой сцене нет ни намека на эротизм, и тем самым она в минимальной мере противоречит тексту и музыке Вагнера. В конце концов, состояние мистической завороженности, в котором находятся персонажи, может передаваться и так. Проблема возникает тогда, когда режиссеру приходится иметь дело с жестко детерминированными сюжетными поворотами: чем выше степень детерминированности, тем яростней режиссерский наскок. Это внутренний раздор доходит до крайности в заключительной сцене самоубийства героини. Естественно, в отсутствии морского антуража Сента не может утопиться, как это предполагал Вагнер. Вместо этого она перерезает себе горло, предварительно зарезав влюбленного в нее Эрика и, тем самым, провоцируя

волну массового самоубийства – все присутствующие на сцене повторяют ее жест и валятся на подмостки. Занавес.

Считается, что Вагнер задумал «Летучего голландца», прочитав новеллу Гейне «Мемуары господина фон Шнабелевопского», в которой иронически описывается некая мелодрама о проклятом моряке и его жене, виденная рассказчиком в провинциальном театре. Этот несуразный (в пересказе Гейне) сюжет превратился у Вагнера в романтическую притчу о загубленной возможности обретения гармонии: как Эльза в более позднем «Лоэнгрине», Сента оказывается не в силах исполнить данное обещание, из-за чего прерывается сообщение между миром реальным и сверхъестественным. Постановка в Дойче Опер в некоторой мере возвращает «Летучего голландца» к его предполагаемому первоисточнику, практически нивелируя мистический элемент и, тем самым, разрывая основные фабульные связи. Отсюда подчеркнуто фарсовый конец с массовым самоубийством, нарушающим логику не только вагнеровского либретто, но и той истории, которая вырисовывалась из постановки.

А лебеди с голым ухажером вспомнились мне отчасти метонимически, поскольку демистифицирующие пассы Татьяны Гюрбак никак не повлияли на инструментальное и вокальное качество спектакля. Оркестр под руководством ди-

рижера Франсуа Лакомба звучал превосходно. Э. Силинс, не без некоторого напряжения и осторожности пройдя сквозь первый монолог, далее обрел необходимую уверенность, и второе действие провел свободно и выразительно. Х.-П. Кёниг безукоризненно исполнил партию Даланда, а М. Уль наделила свою Сенту чуть истеричным (особенно в балладе о «Летучем голландце»), но совершенно искренним темпераментом. Этот контраст между тривиальной бессмыслицей постановки и высоким уровнем исполнительского искусства был почти завораживающим и, одновременно, несообразным, как набоковский немец с его лебедями. А, может, все дело в том, что на самом деле мне хотелось попасть на «Лоэнгрина».





3/4 (RICERCARE)

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества. (М. Цветаева, Мой Пушкин)

Если Отсутствие – это Страна Души. На расстоянии в пространстве, не равном расстоянии во времени. Дарить модальность молчания. Дарить слушание. Тишину, и молчание (Бахтин).

Цветаева: Здесь и завтра. (...) Море здесь, но я не знаю где, а так как я его не вижу, то оно совсем везде, нет места, где его нет, я просто в нем, как та открытка (...)

Отрывки партитуры.

Если можно и вправду сказать, что настоящая музыка, она между нот.

(John Cage, 4'33", 1952)

Прогуливаться и только. Воображать. Я вспоминаю.

Цветаева: Второе – чисто внешнее событие – мое отсутствие. Все, что мое присутствие, событие внутреннее. Событие, которое меня касается, просто не успевает быть внешним, уже становится внутренним, мною.

Образы – они внутри меня. Мои и чужие. (Они не имеют ссылок, фотографии. Они ведь не цитаты. А авторы – пожалуйста. Их голоса, они все *есть*).

Цветаева: Море – здесь, и его – нет.

Записываю фотографии. Оттиски души. Память, мы всегда вместе, в памяти.

Цветатева: Море – взаимное.

Города и память. И желания, они тоже уже память. *Traumnovelle*. С широко закрытыми глазами.

Цветаева: Есть люди – сами события.

1) Первый образ – Падуя. Моё «своё».

Giono: A Padoue, il y a Giotto. Je le vois avec plaisir. (...) Je cherche des sensations.

Аквариум святых. Христианский планктон. Я задерживаю дыхание. Потом, выхожу.

J'avais envie de voir le café Pedrocchi.

Сегодня последний день выставления тела Святого Антония: красивого, умного, много скитавшегося. Его тело выставлено на обозрение верующих по прошествии 29-ти лет – по прошествии триста лет. Лихорадочные дни святости. (Наша страна – это ещё и светская власть Универсальной церкви, воткнутой в столицу государства. Мораль религии, заслонившая собой любой мирской разум. Если Россия – душа контрастов, то наши народы – братья).

Je fais le cent pas sur le Prato della Valle. (...) C'est plein de charme malgré trois douzaines de statues qui toutes font des gestes (...). J'avoue que, si j'habitais Padoue, ce serait ici mon lieu de prédilection. Tout y a du caractère. Мы жили, здесь. Мои дни начинались, скандированные метеорологией куполов. Шум праздника, суббота в деревне: цвет и вкус преднамеренного праздника. (Тишина серая и нежная, тишина ожидания. Тишина желания. Тишина надежды. Тишина истины. Тишина действительности). Разве можно избежать радиус города, когда живёшь в центре его?

Il n'y a rien d'extraordinaire sur le Prato della Valle, sauf pour moi aujourd'hui, à cinq heures du soir, une lumière et un air, des bruits, des couleurs, des formes qui me comblent d'un bonheur que je suis seul à pouvoir goûter. Porquoi ne pas le dire?

Толпа, наполненная тишиной, принуждённой и смиренной, интимной и лицемерной. Китайский дракон – идёт дождь – медленно ползёт в нутро церкви, быстро проходит возле гроба, я вспоминаю, не могу не вспомнить, один мавзолей, это была моя первая Россия, Красная площадь, Ленин, 1979. Я дышала воздухом запрещённой Олимпиады.

Тогда я еще и не подозревала, что несколько лет спустя я начала бы туда возвращаться. Что я начала бы искать смысл, спрятанный в том алфавите – в тех взглядах, в тех улицах. Через год после Чернобыля. Год, как Андреа не было в живых.

Sur la place, devant la basilique, on vend encore – et on vendra toujours – des cierges.

А рядом рынок. Одежда и шмотки, фрукты и овощи, и святые образы. Культура (по Лотману) поведения и быта. Культура (по Бахтину?) направлений без управлений. Без аксиологии: сегодня финал фестиваля «Санремо».

Там, тогда. Шёл опять 1994-ый год. Мой третий, первый, новый раз. Сознательное начало моей вненаходимости. После конференции в ИВГИ – моей первой? После слов о литературе и об искусстве. После эмоций в словах. После моего первого нового Лотмана. Я пошла искать его – *Санремо*. И нашла Италию в «России».

Calvino: Города и желание.

Теперь у площади нет своей надписи. Разве мы, иностранцы, уже не так уж чужие? 45: После сновидения они отправились искать тот город; его они не нашли, но они нашли друг-друга.

Сразу по окончании университета. Я приехала в недавно открытый институт. Приехала в мою Школу – в вашу, *твою*. «Наша первая иностранка». Я пыталась дать прочитать *Oceano Mare* («Море-Океан»).

Baricco: Холодный воздух и северный ветер. Впереди, вплоть до бесконечности, море.

Я переводила его для других, для себя.

Потому что море зовет. Никогда не утихает.

Я искала море, в России. И находила его везде, в людях и в лесах.

Странная музыка неумолимого музыканта. Ритм глаз, ритм мрака – и ужаса – ритм души, и безумия. Оно, Святое, Одно и Единственное, Море-Океан, которому Осанна и Слава во веки веков.

Я жаждала его в словах моей души.

Оно входит в тебя. Оно у тебя за спиной. Оно желает тебя.

(Собор святой Иустины. Мои родители венчались, здесь. Здесь мой отец – восторженное и важное – имел свое отпевание. У нас, круги замыкаются. Если Россия – пространство и расстояние, зато внутреннее, да и настоящее. Если она – время, которое разделяет пространство. То у нас пространство разделено на части – оно уменьшено, ограничено, подавлено, вынуждено). А иногда мне кажется, что наша страна разбивается в дребезги своих церквей, которые всё меньше и меньше – в местничество своих колоколен.

Слово. Молчание. Ветер. Дыхание.

Я не люблю, свой город.

Но чужой взгляд заставляет меня любить красоту, которая у меня перед глазами.

(Площади, совсем пустые. Светящаяся серость неба и земли. Разница столь радикальная, по сравнению с моей Россией не-моей, что я начинаю любить, эту цветаевскую точку *моего* наблюдения).

Пушкин: Близ мест, где царствует Венеция златая.

Здесь и прогуливаюсь с Леной.

«Святой без имени, кафе без дверей, луг без травы».

И весь остальной мир, без лишних слов.

Baricco: *Но ты бесконечен, и в этих клавишах музыка, которую ты можешь играть.*

И мне хотелось снова начать играть.

2. Padoue est une ville propice à l'intrigue. Dès qu'un sensuel de Venise veut etre intelligent il vient a Padoue.

Второй образ - это Венеция. Моё «чужое».

Scarpa: Венеция – это рыба. Посмотрите, как она выглядит на карте.

Но жизнь завистлива. А красота не рождается, чтобы другие оставили ее в покое. Красота –это дело исключений. Дело свободы, то есть.

На карте мост, который соединяет её с континентом, похож на леску: кажется, что Венецию подцепили на крючок.

Микрокосмос. Страх и очарование «высокой воды». (Мы, которые и являемся сапогом, погруженным в воду).

Бродский: Если бы мир считался жанром, его главным стилистическим приемом служила бы, несомненно, вода.

21 ноября, Богоматерь-целительница. В день святого покровителя города я преследую день своего рождения. Creating worlds (Создавая миры). Продавцы приманок и обманок завтра убираются. Сегодня же, я нахожу мои цитаты в особняке Щусева. В русском павильоне в спешке собираю кусочки себя. (Звонок с поздравлениями от близкой подруги. Рак матки. Еще красота, которой не будет продолжения). Но я, я здесь со своим будущем. В не-моем подполье я восстанавливаю свои маршруты. В структурированном мире Джардини Биеннале, я знаю где мне затеряться – и вновь почувствовать себя свободной, опять не-иностранкой.

Бродский: Стоило лишь оглянуться, чтобы увидать Стацьоне во всем ее прямоугольном блеске неона и изысканности, чтобы увидать печатные буквы: VENEZIA. Но я не оглядывался. (...) Таким был мой первый приезд сюда.

Киевский вокзал. После трёхдневного путешествия на поезде, которого больше нет, через Европу бывшего времени – (Будапешт, лишь пару часов нам дано на постижение Дуная) – ритм отдаления (ритм расстояния) терзал меня тоской. Я тогда еще не знала, что мне никогда не захочется вернуться, оттуда. Я заезжала вся горящая от болезни (и может в том бреду от горячки и одиночества мне приснилась заброшенная граница в Чопе, на которой наш поезд пропал вместе с колеями цивилизации и с нашим прошлым, закрытым на замок, оставив нас на грани небытия, насилия тогдашних границ) – в ужасно холодную страну, где белизна снега шифровала всякую возможность утешения. Я тогда ещё не знала, что я обречена стать

русским шпионом своего другого «я». Но вирус уже проник в меня, пока я скандировала то незнакомое время, что час за часом сдирало с меня, бессознательной, плёнки тщеты: и та надпись большими буквами, утверждение существования другого мира, забрала мою душу. Красный свет на блеклом сером и ничего более вокруг, только глубина поверхности, которую невозможно прощупать: *МОСКВА*.

Бродский: Поверхность – то есть первое, что замечает глаз, – часто красноречивее своего содержимого, которое временно по определению, не считая, разумеется, загробной жизни.

Я (я?) подумала о лабиринте лабиринтов, извилистом и нарастающем, обнимающим прошлое и будущее.

Borges: Лабиринт символов, – поправил он.– Незримый лабиринт времени.

Город (город?) не так уж велик, подумала я.

Borges: Его увеличивают полутень, симметрия, зеркала, долгие годы, моё отшельничество, одиночество.

В Венеции не надо сражаться с лабиринтами. Венеция – это ризома настоящего прошлого.

Borges: Поэтому, продвигаясь по этим лабиринтам, никогда не знаешь, преследуешь ли ты какую-то цель или бежишь от себя, охотник ли ты или дичь.

Указания маршрутов – это лишь приведения, простыни (*nizioeti*) жизней прошедших эпох. *Legenda*. Легенды. Истории. Нереальность. Топонимы – это белые прямоугольники на фоне истории. «Здесь не остаётся ничего иного, как надеть на себя пейзаж» – сказал Дзандзотто.

(Площадь Святой Маргариты. Красное вино и *steel drum*. Город снимает с себя маски и одевается в простонародное. «Santa Margherita». «Santa Margarita». Без филологии. Здесь меня никогда не покинет желание быть (а ведь были ли?) рядом с тобой.

Scarpa: Затеряться – вот единственное место, которое стоит здесь посетить.

Энергия заблуждения. Место без адресов, номеров возрастающих ни по домам и строениям, а по личным шагам. Место созданное из мостов-разделений (из разлучений). Я не вижу здесь ночей Петербурга. А вот его подполье – да.

Бродский: «This city deserves no pity».

То же верно и для любви, ибо и любовь больше того, кто любит.

Пушкин. Музей, имени Пушкина. Ведуты Каналетто.

Бродский: Тонущий город, где твердый разум / внезапно становится мокрым глазом.

В Петербург я вернулась лишь двадцать лет спустя. Последний поезд перед взрывом на «Невском Экспрессе». Двадцать часов медленного, таинственного и безжалостно сладкого проникновения в самое сердце тьмы личной памяти. Двадцать лет спустя было двадцать лет назад. Это машина, это возвращение, это путешествие: которого у меня не было на всю жизнь. Которое *есть*.

Бродский: Но я полагаю, что можно говорить о верности, если возвращаешься в место любви, год за годом, в несезон, без всяких гарантий ответной любви. Ибо, как любая добродетель, верность стоит чего-то лишь до тех пор, пока она есть дело инстинкта или характера, а не разума. Кроме того, в определенном возрасте и к тому же при определенной специальности, ответная любовь, строго говоря, не обязательна. Любовь есть бескорыстное чувство, улица с односторонним движением. Вот почему можно любить города, архитектуру рег se, музыку, мертвых поэтов, или, в случае особого темперамента, божество. Ибо любовь есть роман между предметом и его отражением.

Венеция? (Иногда у меня такое ощущение, что вся наша страна тонет. Тонем в своем моральном обнищании мы, отросток плотного континента, жемчужина на его ступне, мишура, служащая лишь для красоты. И спасает нас лишь чужое веление. Чужое желание. Потому, что люди не умеют жить без определений). Венеция – это сон. (Но даже и в этом местечке, в этом смешном не-городке, которое для меня существует лишь потому, что здесь я работаю, передо мной открываются пропасти своего-чужого – твоего – языка.)

Бродский: Во всяком случае, предметы не задают вопросов; пока эта стихия существует, их отражение гарантировано – в форме возвращающегося путешественника или в форме сна, ибо сон есть верность закрытого глаза. Это та надежность, которой лишен человеческий род, хотя мы тоже отчасти вода.

Город сделанный из исключений, преград, бессвязности и противосмыслов. Его знак – противоречие. Его знак – музыка.

Бродский: В сущности, весь город, особенно ночью, напоминает гигантский оркестр, с тускло освещенными пюпитрами палацио, с немолчным хором волн, с фальцетом звезды в зимнем небе. Музыка, разумеется, больше оркестра, и нет руки, чтобы перевернуть страницу.

Город, исчезающий в собственном дыхании. (Туман, он ведь отличительный знак нашего культурного, северо-востока). В этом городе, который время от времени утрачивает зримость и становится везде водой, – в любом её состоянии, – глаз обретает самостоятельность слезы.

Бродский: По-моему, Хэзлитт сказал, что единственной вещью, способной превзойти этот водный город, был бы город, построенный в воздухе. Идея в духе Кальвино, и почем знать, освоение космоса может доразвиться до ее реализации.

Потому, что не каждый описанный город – существует.

Бродский: Постепенно я стал временным постояльцем в обоих государствах, причем больше огорчала меня моя неспособность убедить сон, что я в нем присутствую.

Но каждый приснившийся город - да.

"Италия, - говорила Анна Ахматова, - это сон, который возвращается до конца ваших дней".

А ты этот город, Лена, наверное, знаешь лучше меня.

3. Третий – ведь третьего не дано. Моё море.

Pasolini: Градо – в двух шагах сразу за Аквилеей, за новым тонким мостом, плоским между плоскими островами, плоской водой в лагуне. Серая голубизна его неба и зелень его фриульских деревьев, смягчённый алый и кобальт его крошечного порта, золото волос его молодёжи превращают этот город в страну души.

Фриульский – язык первоисточников, древний и современный, коллективный и заново придуманный каждым индивидуально. Фриульский – это диалект, странно напоминающий русский. Его бабы, с кожей обгоревшей от земли и от жизни, они тоже *babe*.

Mio cantussà / d'ani infiniti / in zurni siti / longo del mar. // Elo la prima vose, / me la seconda, / un'onda dopo un'onda / litanie melodiose. // Sempre cantando / da elo ogni misura / de l'arte pura: / quela del mar più grando.

(Мое тихое пение / бесчисленных лет / в тихие дни / вдоль берега моря. Оно – первый голос, / я же – второй, / волна за волной / литании мелодичные. // Все напевая / от него всякая мера / чистого искусства: / Большого моря).

Опять вода – море и лагуна – которая жизнь и угроза, для жизни. Градо – Золотой остров – Остров солнца. Разве не Город?

«Здесь, в России, я часто думаю о Градо, об этом солнечном острове, некогда совершенно оторвавшемся от суши, за которую он теперь цепляется длинным асфальтовым мостом, конечная цель экскурсий за благополучием и покоем. Я люблю этот краешек фриульской земли, столь непохожий на соседние города вроде Линьяно или Риччоне, где туристическое надувательство слишком назойливо. Градо и его старый город, собор и магия его округи, теперь уже оскверненных – Градо городок теплых вод, белые домики курортников-немцев и недуги жизни, проведенной на солнце, во влажном воздухе – Градо и пляж, ряды зонтов, сдаваемых за плату, и жар скал, разбросанных там и сям вдоль побережья, которое по воскресеньям забито солдатами из соседних казарм – Градо и его рыбаки, изношенные сети и деревянные баркасы, доходящие до края города туристов. Лагуна, дома рыбаков (casoni), храм, возвышающийся, словно

мираж, на плоской и открытой плоскости моря. Профиль земли, все больше удаляющейся в молчании лодки, гонимой ветром».

Magris: Здесь переход от морской воздушной «венецианости» к проблематичной контитентальной «Миттлевропе» – великой и печальной мастерской трудностей цивилизации, коллективного переживания смерти и пустоты.

Из этих лагун, рождается Венеция.

Возможно, что единственным средством для нейтрализации смертельной власти границ – будет встать на чужую сторону.

Казоне Пазолини на берегу лагуны, где поэт снял историю колдуньи и иностранки, истинной жертвы, Медеи. Среди заколдованной неподвижности лагун Градо, символического задника мифа – сопричастность демонов и богов.

Каждая Медея это рассказ о том, как сложно добиться взаимопонимания между разными культурами; печальный и актуальный урок того, как непросто иностранцу перестать быть таковым для окружающих. Медея показывает триумф чуждости и объективного конфликта между различными народами и людьми.

Градо, чёрно-белые фотографии древней души. Диалект Градо, отдалённый лингвистический островок, на котором столько веков говорила маленькая община рыбаков. Алхимия простого и естественного слова, непосредственного чувства. Здесь нет расстояния между взглядом и воспроизведением.

Mar queto mar calmo / no' vogie no' brame / respiro de salmo / tra dossi e tra lame. (Море тихое, море спокойное / ни желаний, ни страстей / дыхание псалма / между скалами и валами).

Мягкие каденции, нематериальный язык. Стихотворение на нотной строке. E, col' mar se lamenta, / conpagno le restie / co' dolse rime mie, / cantàe co' vose lenta. (И, когда море жалуется, / я провожаю волны / с моими нежными / стихами неспешными).

Градо, пейзаж из неба и моря, который становится существенным мифом, лишенный всякого реалистического элемента, местом тяготения к абсолютному, пространство для поэзии. Оно становится моделью вселенной, завершенной и совершенной целостности.

«Я – залив», – когда-то сказал Марин.

В Градо, 29 июня 1891 года, сын скромных родителей, родился поэт, Бьяджо Марин. Литературное достоинство диалекта, сложного, как самый благородный язык. Там, где умирает штормовой ветер, очи, смотрящие вдоль берега на человеческого Бога.

Te vogio ben comò la vela al vento Che trema di piasser co la va a riva A co la mola zo, lo fa un lamento Che la par viva.

Te vogio ben comò la colma al lìo Che tanti basi 'i dà, là su la spiasa; Che note e dì, de dopo che xe Dio, Senpre i se basa.

Te vogio ben comò la luna e 'l sol Al golfo nostro, immenso, cussì fondo, Te vogio 'l ben, che 'l Padre eterno 'l vol A duto 'l mondo Люблю тебя, как ветер любит парус, Что к берегу бежит, дрожа от страсти и стонет жалобно он с реи вниз спускаясь оживший от несчастья

Люблю тебя как берег любят волны, что пляж его целуют нежной пеной И день и ночь, они любовью полны с тех пор как мир наш создан, бренный

Люблю тебя как солнце и луна Залив бескрайний любят наш, бездонный Люблю любовью всевышнего отца ко всей Земле огромной

(Опускай переводы, Лена. Отдавайся музыке).

Биаджо Марин, который «почти физически» (Магрис) не признавал банальности. Эпическая самостоятельность детей и некоторых стариков, которые просто *есть*, как сама природа, и не зависят от чужого взгляда.

(canto de le stele lento in coro) (Пение звёзд медленным хором)

Изобретатель слов и синтаксических оборотов, он соединяет в своём языке диалект и высокий язык, возвращает устаревшие слова и придумывает новые, не существующие вне его поэзии.

Пушкин: Язык Италии златой.

Потому что диалект отображает предметы и ценности, которые нормативная речь уже не в состоянии выразить без фальсификаций и нарушений. Диалект разоблачает бессилие и слабость языка.

Baricco: Легкий рокот моря.

Поэзия, сжигающая любую сущность в музыке, вбирающая в себя неощутимый ритм бытия, вне человека и его страданий. Мистика противоречий. Математическая абстракция, воздающая должное – должное поэзии – нежности и томлению горячей жизни.

Предпочитаю котов. Предпочитаю себя, любящую людей, себе, любящей человечество. Предпочитаю исключения. (Szimborska, Возможности).

Поэтическое и человеческое переживание. Литургия жизни.

Сдержанное упоение самим собой, полное отождествления жизни и поэзии, существование прожитое как поэзия, непрерывно. Пушкин маленькой души.

Anche 'l sol more, Poche xe ore De la granda aventura Solo l'Eterno dura. (И солнце умирает, / мало часов / у большого Приключения / лишь Вечное длится).

Это сюда я возвращаюсь после моей первой, моей каждой, России, Лена. Здесь же зарисовываю мысли. (Цветаева, *После России*).

Сколь пронзительная, столь же Сглаживающая даль. Дольше – дольше – дольше! Это – правая педаль.

Здесь я писала: «За тем горизонтом, теперь, для меня есть Россия». Затем.

Это моё море, прямое, и ничего в нём нет кроме самого моря и противоположности моря, идеальная линия, описанная – горизонт а не конец – линия которая не существует, но которая *есть*, и продолжается до

Предпочитаю не спрашивать, как долго еще и когда. Предпочитаю принимать во внимание даже ту возможность, что быт по-своему прав.

4. Города – люди – и тишина.

Microcosmi: Путешествовать, как и рассказывать, как и жить, значит опускать.

Набеги, приводящие к абсолюту, похожему на пустоту.

Le città invisibili: Таким образом, по словам некоторых людей, подтверждается гипотеза того, что каждый человек несет в голове мысль о городе, сделанном из одних лишь различий, город без фигур и без форм, а отдельные города его заполняют.

Каждая жизнь, как и её страницы, повторяется много раз в собственных страстях, в собственных жестах и в собственных убеждениях, в навязчивых мыслях. Автобиографии с последовательностью фрагментарности.

Когда путешествуещь, различия стираются, и каждый город представляется похожим на все прочие, путаются формы, расстояния, планировка, словно континенты засыпает бесформенная пыль. А живые всегда спрашивают о себе, а не о тех, кто придёт на их место.

Путешествие – это всегда возвращение, решающий шаг – это тот, которым ступаешь на землю или на порог дома. После заблуждений, после ошибок – после столкновений лицом к лицу с различными пониманиями жизни.

В каждом городе ты наслаждаешься не его семью или семьюдесятью чудесами, а ответом, который он дает на твой вопрос. – Или тем вопросом, что он задает тебе, заставляя отвечать, как Фивы – устами Сфинкса.

Поскольку жизнь, в каждую свою минуту она целая, она вся.

Но теперь он больше не имеет отношения к своему реальному или гипотетическому прошлому и не может здесь задерживаться, так как должен следовать к другому городу, где ждет его еще одна часть его прошлого, которая, возможно, была его потенциальным будущим, а ныне это настоящее другого человека.

И вот каков был ответ Марко: "Чужие края – зеркала наоборот. В них путник узнает немногое свое и открывает многое, чего он не имел и никогда иметь не будет".

Искать себя, искать других, найти себя в других.

А Поло: "Для живущих ныне ад – не будущность, ежели он существует, это то, что мы имеем здесь и теперь, то, где мы живём изо дня в день, то, что все вместе образуем. Есть два способа от этого

не страдать. Первый легко удаётся многим: смириться с адом, приобщиться к нему настолько, чтоб его не замечать. Второй, рискованный и требующий постоянного внимания и осмысления: безошибочно распознавать в аду тех и то, что не имеет к аду отношения, и делать все, чтобы не-ада в аду было больше и продлился он подольше".

(diminuendo)

Фрагменты мыслей. Возможных разговоров.

Микродиалоги. Виртуозность душ. Виртуальных лиц.

Как в поэзии. Тайна вод, покрытая и внешне неподвижная тайна глубин.

Сегодня идёт снег в нашей стране. 10-го марта. Страна сходит с ума от этой природы, от которой отвыкла. Но я, я счастлива.

Я хочу быть достойной своего сумасшествия.

Раздельно. Серьёзно, но без слёз. Сам себя. (Эрик Сати, Своим исполнителям)

(Тишина).

Целую тебя, Лена. Я открыла и теперь закрываю – этот вальс, это неписьмо, эту старинную музыку да не мою, эту современную да и мою тишину: эти страницы сокровенного дневника (образы действительности, возможностей, прошедших и желанных встреч), – закрываю последней фотографией, внутренней.

Бродский: Частная жизнь. Рваные мысли, страхи.

Без слов. Неопубликованное изображение в подарок. Известное изображение на память. Произведение в произведении. Думки. (*Rêverie*).

Труду, таящемуся под действительностью. Труду, таящемуся под мечтой. Труду, таящемуся под жизнью. Твоей.



«Терпение» Джорджо Вазари, Галерея Академии (Венеция)
ИК-рефлектография
Изображение под инфракрасным лучом открывает, за гранью видимого,
скрытый под слоями краски подготовительный рисунок.
(Неопубликованное. *Courtesy* INO-CNR, C. Daffara)



Как уст румяных без улыбки Без грамматической ошибки Я русской речи не люблю

Baricco, Alesandro, Oceano Mare, Milano, Bompiani, 1993

Baricco. Alessando, Novecento, Milano, Feltrinelli, 1994

Borges, Jorge Luis, Finzioni, Torino, Einaudi, 1985

Brodskij, Josif, Le Fondamenta degli Incurabili, Milano, Adelphi, 1996

Brodskij, Josif, Poesie italiane, Milano, Adelphi, 1996

Calvino, Italo, Le città invisibili, Milano, Mondadori, 1993

Giono, Jean, Voyage en Italie, Paris, Gallimard, 1954

Magris, Claudio, Microcosmi, Milano, Garzanti, 1997

Marin, Biagio, Nel silenzio più teso, Milano, Rizzoli, 1980

Marin, Biagio, Poesia, Milano, Garzanti, 1991

Pasolini, Pier Paolo, "In viaggio nel paese delle vacanze", La Repubblica, 25 settembre 2005

Satie, Eric, Quaderni di un mammifero, Milano, Adelphi, 1980

Scarpa, Tiziano, Venezia è un pesce, Milano, Feltrinelli, 2001

Szimborska, Wislava, La gioia di vivere, Milano, Adelphi, 2008

Zanzotto, Andrea, Dietro il paesaggio, Milano, Mondadori, 1951













Сергей Серебряный

ЛЕНЕ ШУМИЛОВОЙ

Let us, then, be up and doing, With a heart for any fate; Still achieving, still pursuing, Learn to labor and to wait. Henry Longfellow

Мы родились в года сороковые, На переломе века и судьбы... Любимой родины пути кривые, Вождя великого усы густые – Мы помним всё: ведь в годы молодые Об это *всё* мы расшибали лбы.

Хрущевской оттепели дух обманный Нас поманил к свободе и добру, Но «коммунизьм», вотще обетованный, Распространял свой морок окаянный, Пустую и жестокую игру.

Во времена стабильного застоя Тоска зеленая едва не съела нас, Но, избежав отъезда и запоя, Мы сохранили душу про запас.

Дней горбачёвских робкое начало Нам вновь златые горы обещало, А «перестройки» горестный финал Нам ничего уже не обещал.

В начале девяностых нам казалось, Что к прошлому возврата больше нет. Свобода дорогой ценой досталась, Был горек вкус одержанных побед.

Чем дальше в девяностые – тем горше, О нулевых я лучше умолчу. Наевшись «демократии» прогоркшей, Народ затосковал по палачу.

Послесоветское двадцатилетье
Мы прожили – ликуя и скорбя:
Мы тешили свободою себя,
Но ангел смерти, траурно трубя,
Напоминал о роковом наследье.
Чего нам ждать в оставшиеся годы?
На что надеяться, благословясь?
Продолжится ли торжество свободы
Иль снова нас опустят мордой в грязь?

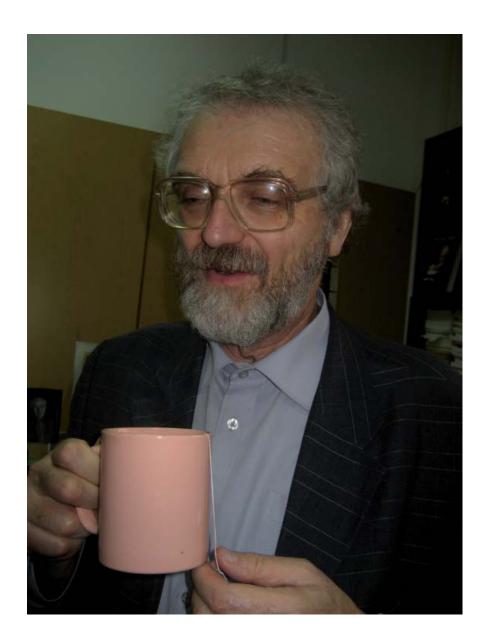
Страна по-прежнему на перепутье. Куда пойдёт? Куда ее толкнут? Дадут ли хоть чуть-чуть передохнуть ей Или предпишут вновь крутой маршрут?

Пути Господни неисповедимы, Непредсказуема в России власть; Сегодняшний кумир превозносимый, Назавтра в одночасье может пасть.

Но вытерпеть готовы мы немало, Готовы ждать несбывшейся весны, Лишь только б власть народ не истребляла И лишь бы снова не было войны.

Пока живём – надежду не оставим, Пока надеемся – мы будем жить, Учиться и трудиться не устанем, Свою страну любить не перестанем, Не перестанем с истиной дружить.

Сергей Серебряный Май – июнь 2010 г.



Н.П. Гринцер

От века в имени Елены Заложен символ красоты, Не лгут античные поэмы, – О том свидетельствуешь ты.

Отвагой истинной горя, Вы обе спорите с судьбою, Одна умчалась за моря, Другой в отчизне хватит боя.

И в том весомое различье Меж славой Спарты и Москвы Та ветрена до неприличья, Ты тверже крепкой булавы.

Недаром именем отцовским Краса Москвы зовется там, Где с чисто женскою сноровкой Воздвигнут был науки храм.

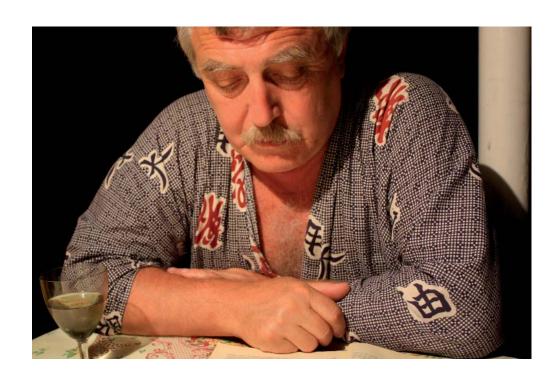
Пускай тот храм не Петр заложил, Сияньем он и Риму будет ровней, Скажите мне: когда бы не Петровна, Где были б вы, ИВГИшные мужи?



ДОРОГОЙ ЛЕНЕ несколько покаянно-поздравительных строк – с любовью

Ленив медлительный Восток И уложиться в срок не смог – Уж минул юбилей. Но если чувства глубоки, То всякой лени вопреки В душе не удержать строки И возгласа: «Налей!»

Прими же, Лена, мой привет! Пусть запоздалый, спору нет, — Но что нам день-другой?! Любовь — она не знает дат, Она без дат сильней стократ И суждена судьбой.



Я поднимаю свой бокал — А также кубок и фиал — Елена, за тебя. И собираюсь поднимать (а поднимая, выпивать) Не год, не два, а двадцать пять! И не устану повторять: «Ты, Лена, — перл!»

Содержание

ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ЛЕНА ЛЕНОЧКА	1
М. Еремин Лене	3
Михаил Айзенберг	4
Зиновий Зиник ЭФФЕКТ ЕЛЕНЫ ШУМИЛОВОЙ	9
Валерий Семеновский ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО	16
М. Бувайло	18
Л. Глезеров ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТКРЫТИЯ	20
Л. Меламид ПРОГУЛКА С ЛЕНОЙ ПО ИЕРУСАЛИМУ	25
Лев Рубинштейн	28
С.Ю. Неклюдов В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ	29
Дмитрий Бак	35
Наталия Мазур ЕСЛИ ГОРОД, ТО КАКОЙ?	39
Т. Цивьян ДОРОГАЯ ЛЕНА!	43
Андрей Зорин ПОПЫТКА ГРУЗИНСКОГО ТОСТА В ТРЕХ ЧАСТЯХ, с тремя моралитэ, прологом и эпилогом	45

Ольга Вайнштейн АНАЛИТИКА ХАРИЗМЫ
Н.С. Автономова ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ТАЛАНТ (к юбилею Елены Петровны Шумиловой)
С.И. Гиндин РАДОСТЬ, ВЫРВАННАЯ ИЗ МИРОВОЙ НЕМОТЫ
Г. Левинтон
Инна Матюшина ЕЛЕНА, СИЛЬНАЯ ДУХОМ
Сергей Козлов СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА И НЕГОДНЫЙ ВЕК (из комментария к «Цветам Зла»)
Вера Мильчина КАК И ЧЕМ ТОРГОВАЛИ В ПАРИЖЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
С.Н. Зенкин
М. Неклюдова О ВАГНЕРЕ И ВОДОПЛАВАЮЩИХ167
Маргерита Де Микиель 34 (RICERCARE)
Сергей Серебряный ЛЕНЕ ШУМИЛОВОЙ193
Н.П. Гринцер
Илья Смирнов ДОРОГОЙ ЛЕНЕ несколько покаянно-поздравительных строк – с любовью